



ЛУИ-АДОЛЬФ ТЪЕР

ИМПЕРИЯ

Луи-Адольф Тьер

**История Консульства и Империи.
Книга II. Империя. Том 4. Часть 2**

«Издательство Захаров»

1846–1850

УДК 82-94
ББК 82(3)Фр

Тьер Л.

История Консульства и Империи. Книга II. Империя. Том 4. Часть 2 / Л. Тьер — «Издательство Захаров», 1846–1850

ISBN 978-5-8159-1310-3

Луи-Адольф Тьер (1797–1877) – политик, премьер-министр во время Июльской монархии, первый президент Третьей республики, историк, писатель – полвека связывают историю Франции с этим именем. Автор фундаментальных исследований «История Французской революции» и «История Консульства и Империи». Эти исследования являются уникальными источниками, так как написаны «по горячим следам» и основаны на оригинальных архивных материалах, к которым Тьер имел доступ в силу своих высоких государственных должностей. Оба труда представляют собой очень подробную историю Французской революции и эпохи Наполеона I и по сей день цитируются и русскими и европейскими историками. Тем более удивительно, что в полном виде «История Консульства и Империи» в России никогда не издавалась. В 1846–1849 годах вышли только первые четыре тома – «Консульство», которое «Захаров» переиздало в новой литературной редакции в 2012 году. Вторая часть – «Империя» – так и не была издана! «Захаров» предлагает вам впервые на русском языке (с некоторыми сокращениями) – через полтора века после издания во Франции! – это захватывающее чтение в замечательном переводе Ольги Вайнер.

УДК 82-94
ББК 82(3)Фр

ISBN 978-5-8159-1310-3

© Тьер Л., 1846–1850

© Издательство Захаров, 1846–1850

Содержание

LIV	7
LV	41
LVI	74
Конец ознакомительного фрагмента.	108

Луи-Адольф Тьер
История Консульства и Империи
Книга II. Империя
Том 4
Часть II

© Ольга Вайнер, 2014

© «Захаров», 2014

LIV

Рестаuration Бурбонов

Отъезд Наполеона на остров Эльба избавил Бурбонов от грозного врага, хотя и разгромленного, но всё еще внушавшего страх державам-победительницам. *Чудовище*, как называли императорское правление, обезглавили, но осталось туловище, и Европу продолжали сотрясать конвульсии его разбросанных останков. Многие войсковые части, рассеянные по Фландрии, Голландии, Вестфалии, Италии, Дофине, Лангедоку и Испании, еще не получали вестей из Парижа или отказывались им верить. Временное правительство спешно направило к ним гонцов с сообщениями о вступлении союзников в Париж, отречении Наполеона и восстановлении Бурбонов на французском троне. Ответов ожидали с некоторой тревогой, ибо временному правительству не хотелось отдавать приказы об осаде Страсбурга, Майнца, Лилля, Антверпена, Флиссингена, Текселя, Гамбурга, Магдебурга, Вюрцбурга, Пальмановы, Венеции, Мантуи, Алессандрии, Генуи, Лериды и Тортосы, а союзникам не хотелось их выполнять. Старых солдат, охранявших эти отдаленные посты под началом энергичных командиров, преданных Наполеону и Франции, не без труда удавалось заставить внять голосу рассудка. Их последние подвиги в 1814 году заслуживают внимания истории и превосходно показывают, в каком состоянии Наполеон оставлял Францию Бурбонам. Мы вкратце расскажем о них.

Антверпен, великолепное детище Империи, хранилище наших военно-морских богатств, оборонял знаменитый Карно. Он навел в крепости порядок, внушив этим гарнизону чувство искренней преданности, и лишил неприятеля всякой надежды завладеть столь ненавистным Англии объектом иначе, чем посредством регулярной и долгой осады. Осаждавшим осталось одно, варварское, средство – бомбардировка. Карно подготовился к ней вместе с адмиралом Миссиесси. Эскадру замаскировали землей, прикрыли склады и наиболее угрожаемые укрепления и затем в течение нескольких дней с героической невозмутимостью переносили беспрерывный град бомб и снарядов, стараясь тотчас тушить занимавшиеся там и тут пожары. Исчерпав боеприпасы, осаждавшие перешли к простой блокаде, а Карно, располагавший достаточным запасом продовольствия, недвусмысленно давал понять, что ни его терпение, ни его мужество истощить не удастся.

Действующих войск, запертых в Антверпене, очень недоставало генералу Мезону, который располагал для защиты Фландрии только 6 тысячами человек. Среди оставшихся в Антверпене войск имелась превосходная дивизия Молодой гвардии, включавшая четыре тысячи пехотинцев и несколько сотен конников. Она могла быть весьма ему полезна в обороне границы, и теперь Карно и Мезон изыскивали способы переправить ее через полчища неприятелей.

Наскоро забросив в Берген-оп-Зом, Остенде, Дюнкерк, Валансьен, Мобёж, Конде и Лилль несколько батальонов и продовольственные припасы, Мезон передвигался с 5–6 тысячами солдат между крепостями, высвобождая то одну, то другую, уничтожая разрозненные неприятельские соединения и расставляя ловушки 50-тысячной армии принца Саксен-Веймарского, которому никак не удавалось выбить французского генерала из лабиринта крепостей.

Пока Мезон демонстрировал подобные чудеса отваги и энергии, многие из наших комендантов покрывали себя славой, отражая с горсткой солдат мощные атаки. Когда принц Саксен-Веймарский атаковал Мобёж, его артиллерию разбили, солдат оттеснили от укреплений и атака самым унижительным образом провалилась.

Выискивая способ подтянуть к себе дивизию Роге, Мезон не упустил представившейся в результате неудачной атаки на Мобёж возможности выдвинуться на Антверпен через непри-

ягельские полки. Объединив 6 тысяч пехотинцев дивизий Барруа и Солиньяка с 1100 конниками дивизии Кастекса, он выдвинулся из Лилля как бы для оказания помощи Мобёжу, опрокинул занимавшие Куртре подразделения и для виду погнался за ними к Брюсселю, а затем резко повернул к Генту, захватил его и встал перед городом, поджидая Роге. Вовремя уведомленный Карно выпустил из Антверпена дивизию Роге, которая и присоединилась к Мезону в Генте, доставив ему подкрепление в 5 тысяч человек всех родов войск.

Многочисленные колонны неприятеля отвлеклись от блокады крепостей и двинулись на Мезона, в том числе и принц Саксен-Веймарский, который намеревался отрезать французам путь к отступлению, бросив на это 30 тысяч человек. Генерал не стал терять ни минуты, возвратился к Куртре, прорвался через корпус Тильмана, уничтожив и захватив около 1200 человек, и по окончании шестидневной экспедиции вернулся в Лилль с победой, сформировав небольшую армию, исполненную бодрости и готовую возобновить набеги, столь хорошо ей удававшиеся. В таком положении Мезона и застали известия из Парижа. Коль скоро так распорядилась судьба, он принял ее приговор, известил войска о свершившихся во Франции событиях и предложил своим солдатам принять перемены. Все его генералы единодушно примкнули к этой позиции.

В то время как армия во Фландрии присоединилась к новому правительству, Карно, при всем его отвращении к Бурбонам, не мог не придерживаться поведения доброго гражданина. Он понимал, что во Франции теперь возможно только правление Бурбонов и нужно подчиниться обстоятельствам и принять их. Но помимо признания монархии оставался еще долг перед Францией, и хотя Карно отворил ворота Антверпена посланцам старой династии, у него не было причин сдавать город неприятелю. Когда Бернадотт сообщил Карно о событиях в Париже и потребовал сдать Антверпен союзникам, тот отвечал, что не имеет еще достаточно подтверждений случившемуся и в любом случае сдаст ключи от крепости только представителям короля Франции. Спустя несколько дней, когда в случившемся сомнений уже не осталось, Карно известил о событиях гарнизон, обязал солдат надеть белые кокарды и продолжал держать ворота запертыми до получения приказов от Людовика XVIII.

В то время как на Шельде и Рейне французские генералы выказали и патриотизм, и благоразумие, в Вестфалии маршал Даву проявлял подлинные чудеса преданности и твердости, сохраняя в неприкосновенности вверенную ему позицию. Как мы помним, Даву во главе одного армейского корпуса оказался осажденным в Гамбурге. Когда после поражения в Лейпцигском сражении к нему не присоединился ни дрезденский, ни какой-либо другой гарнизон, Даву основательно закрепился в Гамбурге и исполнился решимости обороняться против солдат всей Европы, дабы сберечь важный пост, представлявший собой ценный залог для переговоров о будущем мире, связь с Данией и резерв снаряжения.

Будучи с ноября 1813 года лишен всякого сообщения с Францией, Даву оставался непоколебим и решил держаться, пока у него имелись солдаты, боеприпасы и продовольствие. В конце ноября он получил наполовину зашифрованное сообщение, которое предписывало ему выдвигаться, если возможно, на помощь Голландии, а в противном случае оставаться в Гамбурге, охранять крепость и занимать ею как можно больше неприятелей. Поскольку все дороги в Голландию и Францию были перерезаны, Даву принял решение остаться.

Маршал располагал 40 тысячами человек всех родов войск, которые превратились под его руководством в превосходных солдат, однако из их числа следовало вычесть 7–8 тысяч больных. Даву запаса продовольствием и боеприпасами и, согласно приказам Наполеона, окружил Гамбург, Харбург и острова на Эльбе обширной оборонительной системой земляных укреплений, частоколов и наскоро восстановленных бастионов, для сокрушения которой понадобились бы 100 тысяч человек и искусные инженеры. Затем маршал приступил к обороне и в нескольких боях уничтожил 7–8 тысяч человек генерала Беннигсена, который в конце концов оставил его в покое. Так Даву провел зиму 1813–1814 годов, не получая известий от француз-

ского правительства, но получая многочисленные известия от неприятеля – одни ложные, другие правдивые и мучительные, – не считаясь ни с теми ни с другими и решив сопротивляться до тех пор, пока против него не обернется вся Европа.

В таком положении, осаждаемый русской и германской армиями, Даву продержался восемь месяцев. В первых числах апреля Беннигсен уведомил его через датчан о событиях в Париже и потребовал открыть ворота. В ответ маршал сослался на статью декрета об осажденных крепостях, запрещающую верить слухам, исходившим от неприятеля, и добавил, что его государь, возможно, и потерпел поражение, но поражение не освобождает человека чести от обязательств. Тогда Беннигсен скомандовал новую атаку, которая была исполнена под белым знаменем и от имени Бурбонов. Даву обстрелял белое знамя вместе с русским и опрокинул осаждавших, нанеся им значительные потери.

Потерпев неудачу, Беннигсен вновь прибег к переговорам, по-прежнему через датчан, наших бывших союзников. Маршал от переговоров не отказался и предложил послать во Францию генерала Делькамбра, пообещав признать его донесения достоверными и сообразовать с ними свое поведение. Беннигсен согласился, но при условии, что ему немедленно сдадут одно из важных укреплений Гамбурга. Маршал ответил отказом.

Наконец в город прибыл с официальным уведомлением временного правительства представитель, оказавшийся родственником маршала. И только тогда, 28 апреля, Даву собрал свою армию, составлявшую еще 30 тысяч здоровых, отлично вооруженных солдат, объявил им о реставрации Бурбонов, приказал надеть белые кокарды и заявил, что сдаст крепость только по приказу Людовика XVIII, что встретило всеобщее одобрение и рукоплескания. Памятная оборона Даву сохранила ценный объект, спасла для Франции 30 тысяч человек, множество снаряжения и честь знамени.

В Италии принц Евгений оказывал доблестное сопротивление маршалу Беллегарду и упорно отказывался от союзнических предложений, поступавших к нему через баварского короля, его тестя. Евгений держался успешно, пока с тыла его не захватил Мюрат; тогда он откомандировал дивизию Мокюна, дабы помешать неаполитанцам переправиться через По. Доблестный Мокюн опрокидывал неаполитанцев всякий раз, как они появлялись одни или в компании с австрийцами, и сдерживал их до тех пор, пока в Милан не пришли достоверные известия о событиях в Париже. Тогда Евгений вступил в переговоры с Беллегардом и 16 апреля подписал перемирие на следующих условиях. Разбросанные по различным областям Италии французские войска возвращаются во Францию с воинскими почестями и забирают свое снаряжение. Итальянская армия под командованием принца Евгения остается на По и продолжает охранять крепости до тех пор, пока державы коалиции не определят участь Италии.

После подписания перемирия благородный принц, превратившись, в силу необычайных обстоятельств того времени, в принца иностранного, но не перестав быть французским солдатом, обратился с трогательными прощальными словами к армии, с которой ему предстояло расстаться навсегда, приняв от нее в ответ выразительные свидетельства привязанности и сожаления. Затем французская армия под командованием генерала Гренье направилась к Альпам, подбирая по пути гарнизоны, оставлявшие итальянские крепости, и испытывая грусть, ибо навсегда покидала края, где ей удалось, пролив немало крови, обрести великую славу.

В Дофине маршал Ожеро, не сумев отстоять ни Франш-Конте, ни Лион, ни собственную честь, отступил на Изер, а генерал Маршан, многим лучше оборонявший Женеву и Шамбери, отступил на Гренобль. Весть о капитуляции Парижа вскоре достигла и этой части Франции, и после подписания местного перемирия военным действиям был положен конец.

Совсем иначе, по причине отдаленности и численности войск, обстояли дела у подножия Пиренеев, и, уже после того как пушки смолкли повсюду, в этих краях состоялось кровопролитное сражение.

Как мы знаем, свои лучшие войска маршал Сюше отправил к Ожеро, который так и не сумел ими воспользоваться. С немногими оставшимися частями Сюше держался перед Фигерасом, пытаясь вернуть гарнизоны из Каталонии в обмен на Фердинанда VII. Однако испанцы остались глухи к его предложениям, и в конце концов, по приказу Наполеона, Сюше отпустил Фердинанда VII, а относительно исполнения Валансейского договора был вынужден положиться на ненадежное слово нового испанского короля и великодушные испанцев, весьма уменьшившееся от ненависти, которую они к нам питали. Затем Сюше вернулся во Францию, решив присоединиться к Сульту, если события доставят к тому средство и время.

Маршал Сульт после сражения при Ортезе отошел на Тулузу, надеясь увлечь за собой Веллингтона и посредством отходного маневра прикрыть Бордо. Однако Веллингтон не стал гнаться за противником, захватил Бордо, впустил в город Бурбонов и только после этого пустился в погоню за Сультом левым берегом Гаронны.

Английский генерал располагал 60 тысячами человек, в том числе воодушевленными победой испанцами и португальцами, под влиянием успеха и примера английских солдат почти сравнявшимися с ними. Сульт же располагал только 36 тысячами солдат, хотя и превосходных и исполненных подлинно патриотических чувств. К сожалению, сам маршал в ту минуту утратил веру в себя и в фортуна. Он отступил на Тулузу и закрепился на позиции.

Занятая Сультом позиция была весьма выгодной. Гаронна, протекающая поначалу перпендикулярно Пиренеям, у Тулузы резко поворачивает вправо и затем до самого моря течет почти параллельно горам. Хотя неприятель уже перешел через Гаронну и в большей степени угрожал правому, нежели левому берегу, Сульт намеревался оборонять Тулузу на обоих берегах. На левом берегу, перед предместьем Сен-Сиприен, он возвел ряд земляных бастионов и частокол, упирающийся обеими оконечностями в реку. Вторую и почти неодолимую преграду представляла собой стена предместья, снабженная бойницами, фланкированная башнями и вооруженная артиллерией. Если бы неприятель прорвался в Сен-Сиприен, ему осталось бы только пройти по каменному мосту из предместья в город. Однако, взорвав мост, неприятеля можно было запереть на левом берегу, нанеся большие потери. И потому, чтобы обратить в прах все усилия британской армии, тут требовалась всего одна хорошая дивизия.

Представлялось маловероятным, что главную атаку направят на левый берег, где можно было захватить только предместье; куда больше следовало опасаться атаки на правом берегу, где возможной добычей становился сам город. Но и с этой стороны подступиться к городу было трудно. Южный канал, окружавший Тулузу и соединявшийся с Гаронной ниже по течению, представлял первую линию обороны, позади которой имелась еще городская ограда. Берега канала были тщательно укреплены; мосты через канал прикрыты укреплениями и заминированы. Вся северная часть Тулузы прикрывалась каналом, а с востока и юга позиция была еще сильнее, ибо перед каналом располагалась линия высот, простиравшихся от Лапюжада до Кальвине и повсюду увенчанных редутами и артиллерией. На высотах Сульт и расположил свои основные силы.

На левом берегу, в Сен-Сиприене, он поставил дивизию Марансена из корпуса генерала Рейля, а основную часть армии построил на правом берегу. Дивизия Даррико из корпуса Друэ д'Эрлона, разместившись за каналом у моста Матабье, обороняла город с севера. Дивизия д'Арманьяка из того же корпуса занимала пространство между каналом и высотами. Дивизии Ариспа и Виллата из корпуса Клозеля занимали высоты. И наконец, в резерве за высотами располагалась дивизия Топена, составлявшая остаток корпуса Рейля.

Веллингтон решил дать сражение утром 10 апреля. Генералу Хиллу с дивизиями Мюррея, Стюарта и Морильо он поручил атаковать французов на левом берегу Гаронны перед

предместьем Сен-Сиприен. Выделив для этой второстепенной операции более чем достаточные силы, остальную армию он передвинул на правый берег. Генералу Пиктону с шотландской дивизией предстояло форсировать канал к северу от города, а легкой дивизии Олтона назначалось связать эту атаку с атакой испанцев на высоты Лапюжада. Маршал Бересфорд с дивизиями Клинтон и Коула должен был выдвинуться вдоль высот с севера на юг, захватить Кальвине и появиться перед предместьем Сен-Мишель. При нем находилась значительная часть британской конницы.

Утром 10 апреля Хилл атаковал дивизию Марансена на левом берегу перед Сен-Сиприеном, но двигался осторожно, ибо решающая атака должна была развернуться в другом месте. Он столкнулся с сильным сопротивлением и понял, что дальнейшее развитие атаки будет непростым. На правом берегу, на настоящем театре сражения, Пиктон отважно приблизился к каналу. Берега канала обороняла дивизия доблестного Даррико, бывшего полковника 32-го, прославившегося в Дюрэнштейне и в Испании. Искусно расставив солдат на линии обороны и подавая им личный пример, генерал в течение нескольких часов противостоял всем атакам англичан и усеял берега канала убитыми и ранеными шотландцами. Тем временем генерал Фрейр с испанцами пытался захватить высоты Лапюжада, расположенные неподалеку. Испанцы смело выдвинулись к укреплениям, навстречу ожесточенному артиллерийскому и ружейному огню. Но их с левого фланга атаковал генерал д'Арманьяк, они не устояли против двойной атаки и оставили участок, понеся большие потери. К югу от города англичане потеряли почти три тысячи человек и были оттеснены – как на левом берегу, так и на правом, как у канала, так и перед высотами Лапюжада.

В эту минуту Бересфорд предоставил французскому генералу счастливую возможность окончить бой решающей победой. Выдвигаясь с севера на юг вдоль высот, прикрывавших нашу позицию с востока, маршал осуществлял у нас на виду чрезвычайно опасное, но необходимое фланговое движение, ибо ему обязательно требовалось продвинуться на юг, чтобы подойти к Тулузе. Если бы в ту минуту он подвергся массовой атаке, то был бы неизбежно сброшен в топкое русло реки Эрсе, протекавшей параллельно линии высот. Клозель, Арисп и Топен убеждали главнокомандующего не упускать случая и бросить во фланг дерзкому Бересфорду крупные силы. Сульт колебался больше двух часов и решил остановить Бересфорда только тогда, когда тот уже перестал подставлять свой фланг, перестроился и фронтом надвигался на Кальвине на нашем крайнем правом фланге. Дивизия Топена, выдвинутая слишком поздно, потеряла опору на деревню, в которой могла долго обороняться, стремительно атаковала неприятеля, была встречена с присущей англичанам мощью и в самую важную минуту потеряла своего генерала. Несколько мгновений солдаты оставались без руководства, и англичане, воспользовавшись затруднением, завладели редутами Кальвине. Напрасно мы пытались их отбить. Арисп был выведен из строя, а Бересфорд, перейдя через линию высот, появился к югу от города. Французы в беспорядке отступили, но, к счастью, капитан гренадеров 118-го Ларузьер, собрав свою роту за земляным валом у канала, накрыл англичан огнем в упор, остановил их и дал дивизии д'Арманьяка время воссоединиться. На том неприятелю и пришлось остановить свои атаки. Однако, хотя на всей остальной линии англичане отошли, позиция, будучи обойдена с юга, уже не подлежала обороне.

Сульт был уверен, что при отступлении на Каркассон сумеет присоединить Сюше и они вместе образуют такую силу, против которой осторожный Веллингтон окажется беспомощен. Поэтому он принял благоразумное решение пройти через Тулузу и отступить на Вильфранш. Он вывел из строя около 5 тысяч англичан, а сам потерял 3500 солдат. Испанская армия была, как всегда, неудачлива, но вела себя героически.

Наконец известия о событиях в Париже дошли и до тех мест. Проявив чуть больше проворства, временное правительство могло бы сохранить жизнь 8 тысяч храбрецов, принесенных в жертву ради дела, уже решенного в другом месте, но отправить эмиссара сражавшимся у

подножия Пиренеев армиям догадались только 8 апреля. Талейран выбрал для этой миссии Сен-Симона, дав ему в сопровождение английского офицера, дабы их без задержек пропустили через ряды неприятельской армии. Но офицер, призванный сослужить французу службу при английских войсках, сделал его подозрительным для войск французских, которым всюду виделись изменники. В Орлеане и Монтобана Сен-Симона задержали французы, а в Тулузе – англичане, и до лагеря Сульта он сумел добраться только 14 апреля. Между тем маршал нашел в Вильфранше неприступную позицию, дожидаясь на ней Каталонской армии и льстил себя надеждой вскоре одержать реванш. Прибытие Сен-Симона причинило Сульту все возможные неудовольствия, ибо, помимо того что сообщал ужасные новости, Сен-Симон останавливал маршала в минуту, когда победа начинала казаться возможной. Султ всеми способами отказывался принимать доставленные ему из Парижа известия и даже намеревался задержать Сен-Симона, вообразив, что сообщение может оказаться ловушкой неприятеля. Но тому удалось скрыться и добраться до лагеря Сюше, который признал достоверность сообщений и согласился повиноваться приказам временного правительства при условии окончательного их подтверждения. Подтверждение вскоре прибыло, и военные действия между французскими маршалами и неприятельскими силами были приостановлены посредством заключения местного перемирия, так же, как и в других местах.

Так окончилось, от Антверпена до Гамбурга, от Гамбурга до Милана и от Милана до Тулузы упорное сопротивление, которое наши солдаты, разбросанные по всей Европе, не переставали оказывать европейской коалиции. Теперь новое правительство, избавившись от Наполеона, избавилось и от его соратников.

Графа д'Артуа, вступившего в Париж двумя-тремя днями ранее (12 апреля), словно подхватил круговорот, способный вскружить и куда более крепкую голову. Водворившись в Тюильри и не помня себя от радости, что очутился в подобном месте, он хотел сообщить свое удовольствие всем на свете и с готовностью заверял сторонников Империи, что для них ничего не переменится, а эмигрантов, возвращавшихся из двадцатипятилетнего изгнания, – что они получат полное удовлетворение, если проявят немного терпения. Но уже в первые дни граф мог заметить, что одними благими словами всех трудностей положения не преодолеть. Ему потребовались адъютанты, а откуда он мог их взять? Прибывшие с ним из-за границы и сбегавшиеся со всех уголков страны друзья рассчитывали, что им приберегут хотя бы места при королевских особах, если все высшие политические должности отдадут чиновникам Империи. Но адъютантов можно было брать только из среды военных, а военных можно было найти только в императорской армии.

Верно оценив истинное положение вещей, Витроль посоветовал графу д'Артуа выбрать адъютантов из числа выдающихся офицеров Империи. Граф последовал его совету и взял в адъютанты Нансути и Лористона, пользовавшихся уважением в армии и близких старой знати. Их назначение вызвало сильное неудовольствие друзей графа и горячие упреки в адрес Витроля и тотчас обнаружило, как люди старого и нового режимов, собравшись вокруг Бурбонов, будут относиться друг к другу.

Графу д'Артуа следовало безотлагательно заняться и другим важным делом, которое невозможно было уладить уговорами: определиться с титулом, необходимым для управления страной. Сам собою напрашивался титул *генерального королевского наместника*, осуществляющего королевскую власть в отсутствие короля. Но как облечься им без согласия Сената, который оставался единственной признанной властью, после низложения Наполеона держался в стороне, не присутствовал на последних церемониях и всем своим поведением давал понять, что не наделит королевской властью ни графа д'Артуа, ни самого короля без официального обязательства с их стороны в отношении Конституции? Непросто было растолковать эту трудность графу д'Артуа и его друзьям, ибо им казалось, что само присутствие законного государя

или его представителя упраздняет всякую иную власть, и они еще не привыкли к мысли, что помимо королевского права существует право нации. Витроль, служивший посредником при временном правительстве, понимал, что к этому обстоятельству нельзя относиться легкомысленно, и дал это понять и своему господину.

Настроенный поначалу благодушно, граф д'Артуа заявил, что нужно принять от Сената инвеституру на как можно более благоприятных условиях, поскорее завладеть королевской властью и осуществлять ее как можно лучше до прибытия Людовика XVIII, который и рассудит, что делать. Самозванные советники графа, видя его склонность подчиниться, не осмелились сопротивляться дольше и посоветовали уступить, смягчив, однако, обязательство, которого Сенат требовал от графа, и признав только общие основы будущей конституции.

Тем временем император Александр, узнав о трудностях, воздвигаемых советом графа д'Артуа условиям Сената, поручил Нессельроде повидаться с Витролем и дать ему знать о намерениях государей-союзников. Утром 14 апреля, в то время как Сенат должен был собраться, Нессельроде провел с Витролем ясную и поучительную беседу. Русский министр заявил от имени своего повелителя и государей-союзников, что Сенату обязаны и низложением Наполеона, и возвращением Бурбонов; что без него не нашлось бы властей для ведения переговоров; что при всех нападках на него Сенат заключает в себе самых просвещенных жителей страны; что эмигрантам, не знакомым с Францией, Европой и нынешним веком, не удастся подчинить себе столь грозную нацию и им следует подчиниться условиям Сената, в которых нет ничего неразумного; что в настоящую минуту существуют только две реальных силы: армия Наполеона и 200 тысяч штыков государей-союзников; что армия Наполеона хочет только короля Римского, а 200 тысяч штыков союзников не станут устраивать 18 брюмера против Сената, а скорее постараются этому помешать; что таково принятое решение и ему поручено не обсуждать его, а только объявить.

Витроль, как бывало и прежде, удалился возмущенный иностранным давлением, за которым сам прежде отправлялся в Труа, и донес до своего хозяина сообщения, которые ему поручили передать. На *безумца Александра*, как тогда называли императора России, сильно вознегодовали и с вынужденной покорностью стали ждать решения Сената.

Сенат, собравшийся в тот же день, принял следующую резолюцию, которая сделала честь его твердости и уже не могла вызвать никаких насмешек.

«По предложению временного правительства и докладу особой комиссии из семи членов Сенат наделяет Его Королевское Высочество монсиньора графа д'Артуа правом временно управлять Францией под титулом Генерального наместника Королевства, пока Луи-Станислав-Ксавье, призванный на Французский Трон, не признает Конституционную хартию.

Сенат постановляет, что декрет от сего дня будет вечером представлен Его Королевскому Высочеству монсиньору графу д'Артуа всем корпусом Сената.

Принято в Париже 14 апреля».

Вернувшись в Тюильри, Талейран встретился с Витролем и, небрежно бросив на стол текст сенатской резолюции, сказал, что придется им удовольствоваться, а вечером Сенат сам придет к графу д'Артуа за его решением. Теперь Витроль нашел принца не столь сговорчивым, как накануне. Горделивая четкость заявления сенаторов, наделявших его временной и обусловленной властью, исполнила графа д'Артуа гнева. Он резко оттолкнул от себя документ и вскричал, что ему нет дела до господ сенаторов, он их знать не знает, не станет принимать и сделается генеральным наместником в силу права, а не в силу их декларации. Так граф, днем проявлявший куда больше благоразумия, чем его друзья, ныне его утратил. Но необходимость, победившая друзей графа д'Артуа, победила и его самого: 14 апреля он не сделался

сильнее, чем был 12-го, у него по-прежнему не было армии, послушной Наполеону, Национальной гвардии, послушной Сенату, и иностранных солдат, послушных императору Александру. Перечитав декларацию, несколько смягчили обязательства, но оставили в целости суть вещей, а сутью являлось то, что монарх призывается нацией на трон при условии предоставления гарантий, получивших впоследствии наименование *Конституционной хартии 1814 года*, то есть при условии признания монархом наиболее почетных завоеваний Французской революции.

В восемь часов вечера Сенат появился в Тюильри во главе с президентом Талейраном. Талейран приблизился к графу д'Артуа, опираясь, по обыкновению, на трость, и зачитал, склонив голову к плечу, речь, в которой объяснял, но отнюдь не извинял поведение Сената, ибо оно не нуждалось в извинениях.

«Сенат поддерживает возвращение Вашего августейшего Дома на французский трон. Будучи научены настоящим и прошлым, Сенат и нация желают навеки упрочить королевскую власть посредством справедливого разделения полномочий и общественной свободы, единственными гарантиями всеобщего благосостояния и пользы.

Будучи убежден в том, что принципы Конституции близки Вашему сердцу, Сенат надеется Вас до прибытия Вашего августейшего брата Короля титулом Генерального наместника Королевства.

Монсиньор, Сенат, вынужденный при исполнении обязанностей сохранять внешнее спокойствие в минуту общественного ликования, от того не менее проникнут всеобщими чувствами. Ваше Королевское Высочество сумеет прочесть в наших сердцах через самую сдержанность наших слов...»

К этим твердым и почтительным речам Талейран присоединил заверения в преданности, бывшие тогда у всех на устах.

В ответ граф д'Артуа произнес небольшую речь, заготовленную заранее. «Господа, – сказал он, – я ознакомился с конституционным актом, который призывает на французский трон моего августейшего брата короля. Я не получал от него права принимать Конституцию, но мне известны его чувства и принципы, и я без опаски заверяю от его имени, что он примет ее основы...»

После этого открыто высказанного обязательства он перечислил и сами основы: разделение властей, разделение управления между королем и палатами, ответственность министров, свобода прессы, свобода личности, свобода культов, несменяемость судей, неприкосновенность государственного долга и сохранение продаж национального имущества, Почетный легион, сохранение званий и пожалований армии, забвение предшествующих голосований и актов.

«Надеюсь, – добавил граф, – что перечисленные условия вас удовлетворяют и заключают все гарантии свободы и покоя во Франции».

Эта краткая речь имела успех, и воодушевленный им граф д'Артуа с удовольствием обратился к Сенату, а затем и к отдельным сенаторам, с которыми дружески побеседовал. Один из них не удержался даже от восклицания: «О да, в ваших жилах точно течет кровь Генриха IV!» «Его кровь и впрямь течет в моих жилах, – отвечал граф. – Желал бы я иметь его таланты, но за неимением таковых обхожусь его сердцем и любовью к Франции». Эти слова вызвали горячие возгласы одобрения, и казалось, Сенат и граф д'Артуа пришли к совершенному взаимному примирению.

Граф добился полного успеха и был чрезвычайно доволен. Необходимость предстать перед великим собранием самых выдающихся граждан Франции внушала ему некоторую робость, а потому теперь он пребывал в восхищении, что так удачно вышел из положения, и, казалось, забыл свой недавний гнев. «Право слово, – говорил он близким, – обязательство взято, придется честно его выполнять, а потом, когда через несколько лет станет ясно, что дело

не идет, посмотрим, что можно будет сделать, чтобы устроить всё по-другому». С этой минуты граф мог считать себя законным обладателем королевской власти, весьма ловко справившимся с одной из серьезнейших трудностей положения.

Поскольку графу д'Артуа была пожалована королевская власть, следовало положить конец существованию временного правительства, не удаляя, однако, ни людей, его составлявших, ни их влияния. Было бы неблагодарностью и очевидной неосторожностью отдаляться от них слишком быстро и внезапно. Наилучшим средством соблюсти все приличия являлось превращение временного правительства в *совет* графа д'Артуа, ибо граф не мог обойтись без совета, даже если бы был лучше осведомлен о людях и положении дел. Так временное правительство было превращено в правительственный совет, обсуждавший с графом государственные дела. Министры, в большинстве своем уже выбранные, а некоторые из них и вполне достойные управлять Францией в любые времена, стали *министрами короля*, пока Людовик XVIII не утвердит их после возвращения во Францию.

Среди назначений фигурировали эмигранты, считавшие правление Бурбонов не только собственным триумфом, но и собственным достоянием. Некоторые из них уже прибыли из Англии и провинций и теснились вокруг графа, который ограничился тем, что составил из них в некотором роде собственную *клиентелу*, не имея возможности наделить их должностями в управлении государством. Дворец Тюильри постепенно наполнялся людьми, которые сначала напоминали, что сделали то-то и то-то или получали те или иные поручения, по их словам, весьма опасные, а затем предлагали себя для оказания новых и каких угодно услуг. Одни предлагали отправиться в департаменты, чтобы удалить строптивых префектов и супрефектов Империи, или погнаться за членами семьи Бонапартов и отнять у них богатства, которые те, по слухам, увезли. Некоторые предлагали даже, если угодно, избавить Францию от тирана, который хоть и низвергнут с трона, никогда не оставит страну в покое, если оставить его в живых. Не вникая в предложения угодников, граф д'Артуа принимал всех, не оспаривая ничьих мнимых услуг, и соглашался с предложениями, заботясь лишь о том, чтобы отослать всех довольными. Он одинаково обходился как с почтенными роялистами, не запятнавшими себя злодеяниями, так и с людьми, замешанными в преступлениях во время гражданской войны. Всем без исключения он говорил, что надо набраться терпения; что всякий в свое время получит награду за свои дела; что пока он вынужден окружить себя *людьми Бонапарта*, также оказавшими кое-какие услуги; что придет и время роялистов, не напрасно страдавших и ожидавших целых двадцать пять лет.

Будучи неспособным сознательно желать зла, но оставаясь способным его допускать, граф д'Артуа с первых дней сделался центром двух правительств. Одно из них, законное, состояло из бывших чиновников Империи. Другое же, незаконное (и можно было бы сказать, подпольное, если бы оно не было всем известно) состояло из роялистов, которых подавляли во времена Революции и уничтожали во времена Империи. Одни из них честно участвовали в гражданской войне, другие подхватили все пороки, ею порожденные. Граф метался между теми и другими, угождая всем, мечтая всех примирить и извлечь из ситуации пользу для дела. Подобной двойственной роли не выдержал бы и человек, куда более твердый и благоразумный, нежели граф д'Артуа.

Между тем состояние Франции было плачевным, и требовалось срочно его исправлять. Франш-Конте, Эльзас, Лотарингия, Шампань, Бургундия и Фландрия были разорены. Неприятельские войска, особенно прусские, творили бесчинства, в каких никогда не бывали виновны французские армии, хоть и совершавшие нередко прискорбные жестокости в завоеванных странах, но не опускавшиеся до такой степени. Монархи в Париже добросовестно предписывали соблюдать дисциплину и человечность, но офицеры на местах считали, что подобным приказам можно не повиноваться, неповиновение в любом случае останется неизвестным и

безнаказанным, и не отказывали ни в чем ни себе, ни солдатам. В Шампани, где союзники выступали наиболее активно, были сожжены деревни, население разбежалось, сообщение было прервано, мосты перерезаны, дороги разбиты и завалены трупами. Исполненные ярости крестьяне безжалостно истребляли иностранных солдат, попадавших под руку. Императорские власти были заменены лицами, которые сами предложили свои услуги или нашлись на местах и хотели только посредством вымогательства, предпочитаемого, однако, грабежу, забрать у страны всё, в чем нуждался неприятель.

Подобная скорбная картина усугублялась другой, способной внушить самую горячую тревогу. Французские войска, принимавшие в войне активное участие, находились в непосредственной близости от войск союзников. На смену первому чувству удовлетворения от окончания смертоубийственной войны пришли сожаления, а последние весьма скоро обратились в яростный гнев против *изменников*, которым вменяли в вину поражение. Французы были недалеко от того, чтобы вновь наброситься на неприятеля, и не покорялись этому желанию только из-за дезертирства, распространившегося повсеместно. Дороги были полны военных, расходившихся группами, с оружием, обозами и лошадьми. Возникла угроза либо вовсе лишиться солдат, либо получить солдат слишком рьяных и готовых стихийно возобновить войну.

В провинциях, которых вторжение не коснулось, неуверенные в завтрашнем дне и встревоженные власти, боявшиеся слишком рано покинуть Наполеона или слишком поздно примкнуть к Бурбонам, вели себя нерешительно и были неспособны сдержать волнение населения. В центре Франции, в краях обыкновенно спокойных, опасность оставалась небольшой. Но в Вандее, на Юге и всюду, где роялисты и революционеры оказывались вместе, слабость властей порождала подлинную опасность.

При виде затруднений всякого правительства, возникшего из революции, испытываешь страх, и кажется, что оно не сможет удержаться без чудесного гения. Но в гении нужды нет, потому что вначале правительствам споспешествует своего рода всеобщая добрая воля, и судить о них надлежит по тому, насколько благоразумны они будут позднее, когда самые трудные минуты окажутся позади.

Прежде всего в провинции отправили чрезвычайных уполномоченных, которым было поручено донести до жителей акты Сената. Поручалось ознакомить население с актами, а затем заставить принять и исполнить, освободить заключенных священников и роялистов, положить конец притеснениям, проистекавшим от конскрипции, внимательно изучить местные власти, префектов, супрефектов и мэрии и присоединить их к делу Бурбонов или низложить. Комиссаров выбрали в целях примирения и дали им весьма благоразумные инструкции. Назначения были произведены из *людей Бонапарта* (так называли чиновников, научившихся ведению дел под руководством Наполеона и сумевших вовремя его покинуть) и дворян умеренных и доброжелательных, каковыми обычно бывают все при первой радости победы. Уполномоченные отправились в путь немедленно, дабы донести до департаментов добрую весть о возвращении Бурбонов, мире и конституционной свободе.

Затем поспешили разослать по расположениям армию, которую Наполеон сосредоточил вокруг Фонтенбло, и сменить внушавших опасения командиров. Императорскую гвардию, которая одним своим присутствием формировала грозный очаг, разбросали по департаментам, где ее настроения не могли представлять опасности. Старую гвардию оставили в Фонтенбло, а Молодую отправили в Орлеан. Кавалерию гвардии расквартировали в Бурже, Сомюре и Анжере, артиллерию – в Вандоме. Печально знаменитый 6-й корпус, отрекшийся от императора, расквартировали в Руане и окрестностях. Корпус Удино (7-й), состоявший большей частью из войск, подтянутых из Испании, был направлен на Эврё вместе с кавалерией Келлермана. Одиннадцатый корпус, корпус Макдональда, отправили вместе с кавалерией Мило в Шартр. Оставшихся поляков собрали в Сен-Дени, с тем чтобы передать в распоряжение императора России. С теми же намерениями собрали в Дижоне хорватов, дабы возвратить их Швар-

ценбергу, а в Сен-Жермене бельгийцев, дабы вернуть их принцу Оранскому. При таких расположениях уже не следовало опасаться столкновений между французскими и иностранными войсками.

Генерал Мезон, заслуживший уважение своим поведением во время Бельгийской кампании и твердостью, с какой поддерживал дисциплину, был оставлен во главе своей армии во Фландрии. Маршал Даву прослыл упорным приверженцем Империи. Его сопротивление в Гамбурге приводило в отчаяние государей-союзников; его имя внушало трепет всем врагам Франции в Германии;

он без колебаний обстрелял белое знамя, потому что его показали рядом с русским знаменем, и его подвиги сделали его неприемлемым для нового правительства. На смену ему в Гамбург отправили генерала Жерара. Генералу Гренье позволили привести Итальянскую армию, ничего не предписав в его отношении, а Ожеро разрешили командовать в мирное время войсками Дофине, которыми он столь дурно командовал во время войны, но которые по крайней мере не намеревался вернуть Наполеону. Наконец, в отношении маршалов Сульта и Сюше решение было вынесено под впечатлением последних полученных донесений. Согласно этим донесениям Сюше выказывал спокойствие и умеренность, а Султ – строптивость, враждебность и безмерную привязанность к Империи. Последнему предписали уступить командование Сюше, который в результате объединил под своим началом бывшие армии Арагона и Кастилии.

Приняв срочные меры в отношении армии, оставалось сделать еще одно важное дело: высказаться на предмет конскрипции – установления необходимого, но в то время всем ненавистного. Несмотря на неосторожные обещания принцев, приняли разумное решение ничего пока не постановлять и оставить все важнейшие вопросы на усмотрение ныне отсутствовавшего короля. Однако, поскольку следовало определиться с дезертирством, решили, что конскрипты 1815 года, призванные в 1814-м по императорскому обыкновению проводить конскрипцию на год вперед, могут остаться дома, если еще не присоединились к войскам, или же вернуться домой, если уже покинули свои коммуны. Это было своего рода узаконивание уже свершившегося факта. В любом случае возвращение пленных и гарнизонов Италии, Испании, Германии, России и Англии должно было доставить армии гораздо больше превосходных солдат, чем Франция была в состоянии содержать.

Финансы представляли одну из главных трудностей нового правительства. Наполеон в последние дни правления одалживал казне деньги, беря их из личных сбережений. Из 150 миллионов, которые он сэкономил с различных гражданских листов, в январе 1814 года у него оставалось 18 миллионов, из них 10 миллионов отняли у Марии Луизы. В Тюильри привезли фургоны с этими миллионами как часть возвращаемого государственного имущества, которым захотели почтить графа д'Артуа.

Когда об этом узнал министр финансов барон Луи, он был возмущен в высочайшей степени. Это был пылкий человек высочайшего ума, с высотой и глубиной воззрений он соединял страстную любовь к порядку. Барон Луи с готовностью примкнул к Бурбонам, но не из соответствия своих чувств эмигрантским, а из искреннего желания *разумной свободы*, которой ожидал от них. Несмотря на преданность новому правительству, он был охвачен гневом из-за свершившегося беззакония. Собрав основных членов правительства и совета, он заявил о случившемся и объявил, что подаст в отставку, если миллионы не будут тотчас возвращены в казну. Его постарались успокоить, посоветовали отправиться прямо к графу д'Артуа и уведомить его, соблюдая умеренность и приличия, о правилах управления государственным имуществом, установленных с 1789 года, а в завершение пообещали полное удовлетворение.

Несколько успокоившись, министр отправился к графу, удивил его, не причинив неудобства, энергичностью выражений и с легкостью убедил вернуть имущество, которое тот и не думал присваивать и которым, скорее всего, распорядился бы в пользу своих несчаст-

ных друзей. Десять миллионов, за вычетом полутысячи франков, необходимой для содержания дома графа д'Артуа, были возвращены в казну.

Эта помощь подоспела вовремя и имела тем бóльшую цену, что была получена в металлических деньгах. Наверное, никто так хорошо, как барон Луи, не понимал, что секрет кредита – в пунктуально точном исполнении обязательств. Партии почти во все времена склонны не придавать значения обязательствам предшественников, и в то время хватало роялистов, готовых без почтения отнестись к долгам и Революции, и Империи. Но барон Луи во всеуслышание заявил, что при всей склонности защищать казну, он не станет защищать ее до такой степени, чтобы обманывать ожидания государственных кредиторов; что все предшествовавшие долги, независимо от их причины и происхождения, будут неукоснительно выплачены; существующие налоги будут сохранены, несмотря на протесты партий и народа. Объединенные налоги и конскрипция были необходимы, ибо деньги и солдаты требуются любому правительству и, соответственно, нужно иметь смелость их сохранить. С министром согласились, добавив, что тотчас по прибытии короля приступят к углубленному изучению существующих налогов.

Деловые люди обладают тонкой интуицией и проникаются доверием к тому, кто его истинно заслуживает. Скоро стало известно, что министр финансов хочет выплатить все без исключения законно подтвержденные долги и ради этого не боится сохранить существующие налоги, не беспокоясь о том, что сделается непопулярным, лишь бы восстановить кредит государства. И кредит, в самом деле, возродился как по волшебству, благодаря обеспеченному миру и министру, принципы которого были тверды и объявлены во всеуслышание. Деловые круги выказали готовность поддержать барона Луи, и он смог тотчас прибегнуть к мере, прежде невозможной, – к выпуску краткосрочных векселей, то есть королевских бонов.

В современных государствах обычаем освящены два вида долга: долг, основанный на бессрочных или долгосрочных векселях, и *плавающий* долг, основанный на краткосрочных векселях, процент по которым меняется в зависимости от кредитной ситуации. Барон Луи без колебаний создал новый плавающий долг, выпустив королевских бон на 10 миллионов, краткосрочных и с процентом, зависевшим от обстоятельств. Благодаря доверию, которое внушал министр, эту сумму приняли без неприязни.

Из Орлеана прибыли металлические деньги, а сохранение налогов, хоть и не выплаченных в некоторых провинциях, доставило некоторые ресурсы, и стало возможным распределить между министерствами 50 миллионов, обеспеченных наличными, что помогло наконец запустить все службы. Дела получили счастливый импульс, который во многом содействовал оживлению кредита. Барон Луи с той же твердостью поддержал порядок, который был главным достоинством имперских финансов, и приказал сохранить обычай ежемесячно представлять в совет таблицу нужд следующего месяца, дабы знакомиться с нуждами заранее и выделять необходимые ресурсы.

Таким образом, финансы, бывшие самой тяжелой задачей нового правительства, вывели из первого затруднения благодаря умелому и сильному министру. Однако помощи требовало и тяжелое положение торговли. Без объяснений понятно, какое расстройство принесло внезапное вторжение британских товаров. Сахар, кофе, хлопковые ткани, столь желанные жителям континента и распространявшиеся в изобилии по всей Германии с 1813 года, вторглись во Францию в 1814-м вслед за армиями союзников. Они переходили через Рейн, Шельду, Маас вслед за солдатами коалиции или попросту выгружались на побережье, ибо наши порты спешили впустить английские суда прежде всяких приказов из Парижа. В результате французским хлопковым тканям приходилось бороться с тканями английскими, которые с преимуществом экономичного изготовления соединяли преимущество неуплаты 50 %-ной пошлины на сырье. Английский кофе, стоивший в Лондоне 28 сантимов и поступавший в наши порты по 38 сантимов, оказывался рядом с французским кофе, который к такой цене вынужден был добав-

лять 44 сантима, уплаченных в казну, и потому становился непродаваемым. То же относилось к сахару и другим колониальным товарам. Если бы мир наступил без иностранного вторжения, следовало бы отменять пошлины постепенно, дабы дать возможность закончиться продуктам, закупленным с их уплатой. Но поскольку иностранные солдаты и иностранные товары вторглись одновременно, приходилось терпеть последствия обоих бедствий и не усугублять зло, продлевая существование неприменимых тарифов. Без серьезного снижения цен и других срочных мер наши рынки снабжались бы исключительно контрабандистами, которые продавали бы проникавшие во Францию товары по самым низким ценам.

Ясное изложение этих причин послужило преамбулой к постановлению о временном изменении тарифов: министр отменил пошлины на хлопок и различное сырье, примерно на семь восьмых сократил пошлины на сахар и кофе, обещал восстановить таможи, как только уйдут армии союзников, и установить к тому времени новые тарифы, которые в достаточной мере защитят французских производителей, не заставляя их слишком дорого платить за сырье, и обременят колониальные продукты пошлинами, необходимыми казне.

Несомненно, эти меры, хоть и весьма разумные, не вполне обнадежили промышленные города, которые опасались крайнего благоприятствования британской торговле, но они по крайней мере смягчили страдания, уменьшили тревоги и позволили надеяться на благоразумно просчитанные шаги, как только обстоятельства позволят применить к торговле и промышленности окончательно сформированное законодательство.

Общегосударственные меры подкреплялись мерами в провинциях, разоренных войной. Послали уполномоченных для восстановления разрушенных мостов, ремонта дорог, погребения трупов, реорганизации почтовой службы, словом, для восстановления порядка во всех жизненно необходимых сферах. Повсюду жители, угнетенные бедствиями страны, но утешенные миром и начавшие надеяться на Бурбонов, были готовы на всё, чего от них требовали и предлагали себя для исполнения приходивших из Парижа приказов. Однако если удавалось победить главные трудности в уже освобожденных провинциях, дела обстояли иначе в тех провинциях, где всё еще оставался неприятель. Иностранные войска в этих провинциях притязали на абсолютную власть. Они не только разграбляли замки, опустошали деревни, насиловали женщин, но и захватывали государственное имущество и пытались торговать лесом, солью и металлами из наших арсеналов. Повсеместное расхищение частного и государственного имущества не только разоряло страну, но и приводило в отчаяние народ, лишая его благорасположения к новому правительству, несправедливо считавшемуся союзником и сообщником врага.

Вся страна в один голос требовала вывода союзнических армий. Они пришли, как говорили их генералы при переходе через Рейн, не для унижения, а для освобождения Франции. И теперь, когда Наполеон побежден, разоружен и выслан, а Бурбоны повсеместно приняты, по какой причине союзники остаются во Франции?

Столь справедливый довод завладел всеми умами, и единодушное пожелание, чтобы союзники немедленно оставили французскую территорию, дошло до министров, а от министров и до графа д'Артуа. Однако столь естественное желание, пусть и всеобщее, являлось необдуманым. Можно ли было требовать вывода войск от государей-союзников, не вызвав с их стороны ответного требования освободить территории, которые продолжали занимать мы? Такими территориями оставались Гамбург, Магдебург, Тексель, Флиссинген, Берген-оп-Зом, Антверпен, Монс, Люксембург, Майнц, Лерида, Таррагона, Фигерас и Херона, содержавшие немалые запасы снаряжения, а кое-где и великолепный флот. В результате пришлось бы отказаться от обладания залогами чрезвычайной важности для переговоров о будущем мире. Несомненно, условия мира не могли сильно измениться, только победоносный меч Наполеона был способен изменить принцип *границ 1790 года*. Но даже при согласии оставить рейнские провинции и Бельгию между Рейном и Шельдой и нашими границами 1790 года еще можно было

начертать прекрасную и крепкую границу. Такой границы можно было бы добиться, твердо и терпеливо ведя переговоры от имени Бурбонов, во имя благорасположения к ним и желания сделать их популярными. И преуспеть в переговорах весьма помогло бы обладание теми залогом, от которых теперь собирались отказаться, ибо нетрудно вообразить, в какое замешательство повергла бы государей-союзников необходимость силой возвращать себе Гамбург, Магдебург, Антверпен или Майнц.

Следовательно, нужно было потерпеть еще один-два месяца, потребовав у императора Александра и союзников прекращения бесчинств в наших несчастных провинциях. Если бы под гнетом страданий были способны размышлять, то заметили бы, что даже в случае немедленного подписания соглашения о выводе войск иностранные армии уйдут не раньше, чем через два месяца. Король отсутствовал, но его отсутствие, не мешавшее сдать главные крепости Европы, тем более не могло помешать началу обсуждения основ мира. Однако страдание не рассуждает, и единодушные пожелания населения обязывали правительство начать переговоры о выводе войск, неизбежно взаимном. Добавим справедливости ради, что Гамбург, Магдебург, Тексель, Лерида, Таррагона и другие пункты, которые предстояло оставить, являлись свидетельствами честолюбивой и уже осужденной политики, остатки которой никто не стремился сохранить.

Талейран повел переговоры и был выслушан представителями держав с готовностью и притворной благожелательностью в отношении Франции, которую они, по их словам, спешили избавить от иностранной оккупации. На самом деле союзникам не терпелось получить обратно крепости, которые мы удерживали. Конечно, они были уверены, что рано или поздно Пруссия получит Магдебург и Гамбург, Англия – Антверпен, а Австрия – Майнц;

но нетерпение пламенного желания удовлетворяется только немедленным получением желанного предмета. Поэтому союзники обещали без задержек оставить Францию при условии, что наши гарнизоны оставят вышеперечисленные пункты. Не было даже возможности, возвратив Гамбург и Магдебург, попытаться удержать Антверпен, Майнц и Люксембург. Однако государи-союзники обещали Франции лучшее обхождение при Бурбонах, чем при Бонапартах. Их послы этого не отрицали и говорили, сохраняя твердую приверженность принципу границ 1790 года, о возможности территориальных расширений и приобретения миллиона новых поданных. Не имея средства добиться лучшего, Талейрану пришлось удовольствоваться этим обещанием.

Оставался важный вопрос о снаряжении, содержавшемся в возвращаемых крепостях. Помимо полевой артиллерии в крепостях имелось множество разнообразного снаряжения, которое если и нельзя было спасти, то можно было хотя бы заявить на него притязания. Этим вопросом не обеспокоились вовсе, торопясь заключить соглашение. Договорились только, что наши войска выйдут с оружием и багажом и вывезут артиллерию из расчета по три полевых орудия на тысячу человек. По правде сказать, это была денежная потеря в 30–40 миллионов, несравнимая с потерей территории, но всё же потеря. Внимание уделили только построенному нами флоту, содержавшемуся в некоторых морских крепостях, но ему назначалось стать предметом переговоров при заключении окончательного мира.

Соответственно, договорились, что иностранные войска будут оставлять французскую территорию по мере вывода французских войск из занимаемых ими отдаленных крепостей: из крепостей Рейна – в десятидневный срок, из крепостей Пьемонта и Италии – в двухнедельный срок, из крепостей Испании – в трехнедельный. Самые отдаленные крепости надлежало сдать к 1 июня. Кроме того, стороны обязались незамедлительно возвратить пленных всех наций, независимо от их настоящего местонахождения.

Соглашение, подписанное Талейраном 23 апреля, было в тот же день представлено графу д'Артуа и его совету. Что примечательно и доказывает обычное влияние текущих забот, оно не вызвало нареканий, ибо отвечало всеобщему пожеланию об оставлении территории. Нespo-

собный предвидеть последствия такого соглашения несчастный граф, на которого оно позднее навлекло незаслуженную непопулярность, чистосердечно полагал, что избавляет Францию от присутствия иностранных солдат, и с радостью его подписал. Соглашение тотчас обнародовали, и в первый день оно вызвало у публики не больше замечаний, чем у королевского совета.

Граф д'Артуа находился в Париже уже три недели, и было желательно, чтобы Людовик XVIII прибыл, наконец, и взял в свои руки бразды правления государством. Этого хотели просвещенные друзья графа, того же желал и сам граф, который хотя и любил во всё вмешиваться, в то же время был напуган ответственностью, ежедневно взваливаемой на него. Ведь в отсутствие брата, которого он побаивался и который был весьма ревнив к своей власти, ему выпало принимать решения и по налогам, и по торговле, и даже по территории. К нему присоединились сыновья. Герцог Ангулемский, скромный и храбрый принц, не остроумец, но разумный и здравомыслящий человек, прибыл в Бордо месяцем ранее. Герцог Беррийский, одаренный от природы умом и благородным, но пылким сердцем, прибыл во Францию через Бретань и Нормандию. Молодых принцев с пышностью и шумными изъявлениями радости встречали у ворот Парижа. С ними прибыла новая делегация пламенных роялистов, что отнюдь не являлось гарантией единства и благоразумия в управлении.

Присутствие короля потому и сделалось крайне желательным, что надеялись на его благоразумие и скорейшее разрешение оставленных на его усмотрение вопросов. Как монарх отнесется к условиям, которые притязает навязать ему Сенат? Какую цену он придаст обязательствам, взятым от его имени графом д'Артуа? Сомнениям следовало положить конец, а тем временем всякий старался расположить Людовика XVIII в пользу своих идей и интересов. Граф д'Артуа велел передать брату, что взял на себя лишь самые общие обязательства; что король совершенно свободен в отношении текста сенатской конституции и еще более свободен в отношении требуемой присяги; что обязательство относится только к общим основам конституции и оставляет большой простор для решений. Талейран велел своим посланцам говорить языком лести, а не разума, и, желая убедить короля, что его власть сохранена, велел передать, что ему нужно только выказать благорасположение к маршалам и в минуту вступления во Францию обнародовать общую декларацию, сообразную господствовавшим идеям.

Самым правдивым и твердым был Монтескью, хоть он и оставался при своей личной точке зрения. В письмах к Людовику XVIII он выказал сильнейшее раздражение против Сената и его притязаний навязать условия монарху, но не скрыл ни важности принятых обязательств, ни силы, которую еще сохранял Сенат. Он заявлял, что Франция не настолько проникнута роялизмом, как хотелось бы думать; что многие сожалеют об Империи, а иные еще привержены идеям Революции и не решатся их дешево продать; что армия враждебна династии; что недовольные, имея на своей стороне материальную силу, готовы сплотиться за Сенатом и придать ему устрашающее могущество; что с ним придется считаться, как это ни неприятно; что из ревности Законодательного корпуса можно извлечь некоторую пользу, хоть он и слаб, и неполон, и главной властью остается Сенат; что нужно взять из конституции всё приемлемое и составить акт, исходящий от самой королевской власти; что положение финансов крайне тяжелое и, вероятно, потребует значительного займа, а займодавцев невозможно будет найти без вмешательства главных государственных органов. Хотя эти свидетельства и не вполне соответствовали истине, они всё же передавали положение дел точнее, нежели сообщения от графа д'Артуа и Талейрана. Впрочем, и те и другие вызвали в Хартвелле удивление.

Людовик XVIII, согласно правилам монархического наследования ставший законным королем после смерти Людовика XVII, несчастного сына Людовика XVI, на протяжении многих лет пребывал в Хартвелле в Англии. Он вел в изгнании тихую дремотную жизнь, когда ужасные события 1812 года пробудили в его сердце почти угасшую надежду, и тогда он высту-

пил с заявлением, обещая реформы, забвение прошлого и уважение к отчужденному в пользу государства имуществу, что и составляло всю программу либеральной эмиграции. Его обещания, распространившись по Европе, до Франции, тем не менее, не дошли. И теперь, узнав об актах Сената, он ощутил почти такую же горячую радость, как граф д'Артуа, хотя и менее бурную. Поначалу, как и его брат в Нанси, Людовик вовсе не думал оспаривать условий возвращения на трон и приказал графу Блака, сделавшемуся его доверенным лицом, подготовить акт признания сенатской конституции. Признание формы правления, уже существовавшей в Англии, не казалось ему слишком высокой ценой за возвращение во Францию.

В таком расположении духа и нашли короля посланцы графа д'Артуа, Талейрана и Монтескью. Как только Людовик XVIII узнал от них, что спасен основной принцип королевского наследственного права и он может не только сохранить знамя древней монархии, но и не терпеть условий и не приносить присяги, а ограничиться лишь общей декларацией об основах конституции, он поспешил отложить акт ее признания. Людовику посоветовали без спешки покинуть Англию и остановиться в одном из замков старой Франции, к примеру, в Компьене, великолепно отреставрированном Наполеоном. Там король мог бы всех повидать и познакомиться с людьми и положением дел прежде, чем вступит в Париж и возьмет на себя обязательства. Людовик принял совет и решил, что сначала посетит в Лондоне принца-регента, которому был обязан благородным гостеприимством, а затем отправится через Кале в Компьень, где и примет от своих подданных первые заверения в верности.

Двадцатого апреля Людовик XVIII вступил в Лондон, где пробыл три дня, приветствуемый неистовыми рукоплесканиями везде, где бы ни появлялся, а 23-го, в сопровождении принца-регента, большинства английских принцев и первых лиц королевства прибыл в Дувр. На следующий день он отплыл в Кале под эскортом целого флота из восьми линейных кораблей, множества фрегатов и бесчисленного множества легких суденышек.

В Кале прибытия короля ожидали внушительные толпы народа. Его встречали не с радостью, а со слезами, ибо в ту минуту сильна была власть воспоминаний, и французы, думая о кровавой трагедии, начавшейся в 1789 году и закончившейся в 1814-м, не могли не проливать непритворных слез. К волнению, как всегда, присоединялась лесть, и можно легко догадаться, предметом каких изъявлений сделался Людовик XVIII. Наконец, 29 апреля он вступил в Компьень, где его ожидали многие прославленные лица Франции и Европы.

Когда Людовик XVIII с племянницей, герцогиней Ангулемской, которую он называл дочерью, и обоими Конде, отцом и дедом герцога Энгиенского, то есть в окружении великих жертв Революции, приблизился к Компьеню, толпы придворных с неслыханной угодливостью устремились ему навстречу. Marshals поручили выступить от их имени Бертье – из-за его возраста, положения и ума, – и Бертье, сокрушенный событиями, озабоченный будущностью своих детей, согласился на эту роль. Не проронив о великом человеке, славу которого разделял, ни единого оскорбительного слова, он произнес те же банальности, что были тогда на устах у всех. «Marshals от имени армии приветствуют отца нации, которого Франция имела несчастье так долго не знать, но к которому, наученная опытом и невзгодами, возвращается с радостным воодушевлением и уверенностью, что обретет с ним покой, процветание и даже славу, каковыми наслаждалась под скипетром Генриха IV и Людовика XIV. Командующие армией спешат предложить отцу нации свое сердце и свой меч, которые всегда принадлежали только Франции и должны по праву принадлежать законному государю Франции восстановленной и возрожденной». Таков был, по крайней мере, смысл хвалебной речи, произнесенной Бертье, которую не имеет смысла воспроизводить дословно, ибо она повторяла все речи, произносившиеся в ту минуту.

Король, хорошо осведомленный о том, что из всех людей Революции именно marshals – это те, кому наиболее полезно и легко польстить, смягчил присущую ему надменность самой совершенной любезностью. Он протянул marshalam руки и сказал, что рукоплескал их подви-

гам в своем изгнании; что эти подвиги были сладостным утешением его отеческому сердцу; что он счастлив встретить маршалов первыми по возвращении в вотчину предков и хотел бы опереться на них; что он несет им мир, но если мир будет нарушен, он выйдет впереди них под стягом древней французской чести, несмотря на старость и недуги. Подтверждая свои слова делом, Людовик XVIII оперся на руки двух маршалов и двинулся в просторные покои. Там он любезно приветствовал толпы окруживших его угодников и снова обратился к маршалам, сказав каждому из них несколько слов лично и по очереди представив их племяннице и кузенам. Он оставил их на обед, выпил за армию английского ликера и расстался, очаровав их соединением любезности и достоинства, столь не похожим ни на приветливость графа д'Артуа, ни на грубоватость Наполеона.

Однако в Компьене происходили события и более серьезные, нежели официальные приемы: то были встречи Людовика XVIII с высокопоставленными лицами, которые держали в своих руках пружины, приводившие в действие ход вещей.

Еще во время неспешного путешествия из Кале в Компьень король послал Блака в Париж, дабы узнать у графа д'Артуа и самых надежных роялистов обо всем, что ему полезно было бы знать. Граф д'Артуа лично прибыл обнять брата и был принят Людовиком XVIII, душа которого умягчилась от радости, сердечнее обыкновенного. Впрочем, его вполне удовлетворило и то, что брат ему сообщил. С каждым часом Бурбоны делались сильнее, а Сенат – слабее, законная монархия продолжала выигрывать необъявленную войну. Между тем, хотя правоверные роялисты ненавидели всё, что называлось *конституцией*, невозможно было такую народу не дать. Франция настолько усвоила обыкновение при всякой перемене режима составлять письменные условия своего нового состояния, что и теперь приходилось братья за перо. Казалось невозможным избежать правления, аналогичного английскому: с двумя палатами, свободными газетами, независимым правосудием, сохранением продаж национального имущества, Почетным легионом и новой знатью. И граф д'Артуа, и Монтескью, и все, кто в течение месяца были причастны к делу, признавали это. Но обговорили пункты, которым Людовик XVIII придавал наибольшее значение. Его не заставляли принять текст конституции, и он был избавлен от присяги. Он мог выпустить конституцию по своей воле, от имени своей королевской власти. Более того, он мог взять только часть Сената, какая ему больше понравится, дополнить ее старой знатью, сохранить Законодательный корпус, которым был доволен больше, нежели Сенатом, и таким образом составить правительство по своему вкусу. Наконец, чтобы лучше отметить разницу между таким поистине королевским способом действия и тем, какого поначалу требовал Сенат, король решил вступить в Париж, не приняв конституции, а опубликовав только общую декларацию, подобную декларации графа д'Артуа, тем самым оставив себе время хорошенько взвесить пункты новой конституции.

Главным лицом, первая встреча с которым обладала для Людовика XVIII большой важностью, был Талейран, еще некоторое время остававшийся основным игроком на политической сцене. И Людовик XVIII, и Талейран хорошо изучили свои роли, ибо любили представления и выступали в них превосходно. У Талейрана роль была труднее, но не потому, что он был ниже умом, а потому, что был ниже положением. Между Людовиком XVIII, вернувшимся из изгнания, и Талейраном, служившим поочередно и Республике, и Империи, преимущество положения оставалось за первым. Правда, Талейран мог похвалиться содействием недавнему перевороту, но услуги такого рода быстро забываются, и теперь Людовик XVIII был победителем, а Талейран – побежденным, хотя и сам помог себя победить. Между тем, в надменности Талейран не уступал своему венценосному собеседнику. Вдобавок он обладал изысканным тактом, искусством льстить, не унижаясь, и ни в чем не быть вторым, даже в присутствии принцев и королей. Таким образом, и Людовик XVIII, и Талейран оказывались при встрече в выгодном положении.

Людовик XVIII принял Талейрана с необычайной любезностью, поблагодарил его за услуги и тотчас перешел к обсуждению текущего положения. В душе король и его будущий премьер-министр были согласны, ибо об основном сторонах уже договорились. Посему беседа представляла собой лишь обмен одобрительными замечаниями по каждому пункту. «Признайте две палаты, от которых нельзя отказаться, и обласкайте военных, которым довольно польстить, ибо они и не думают управлять, и не умеют», – такие речи вел Талейран и не встречал возражений. Со своей стороны, Людовик XVIII дал понять, что такой человек, как Талейран, мастерски владевший искусством вести переговоры с державами и всё еще облеченный блеском великой Империи, останется его представителем в Европе. Это было всё, что требовалось Талейрану. Король и министр расстались после беседы, испытывая взаимное удовлетворение: король – действительное, а Талейран – притворное.

Тем временем объявили о еще более важном госте – императоре России. Искренне и успешно играя в Париже роль великодушного победителя, император Александр вмешивался в решение участи Франции с таким пылом и добросовестностью, которые могли бы вызвать благодарность французов, если бы не было так неприятно благодарить за счастье иностранца. Король Пруссии и император Австрии не создавали себе подобных забот. Не беспокоясь о том, что станется с Францией, Фридрих-Вильгельм думал только вернуться в Берлин с вестью о мире и крупными военными контрибуциями, а император Франц мечтал вернуться в Вену, приобретя Италию и Тироль. Бурбоны разберутся сами, это их внутреннее дело и дело французов. Лишь бы только они не задумали вновь перейти через Рейн или через Альпы, а большего от них и не требовалось. Что до Наполеона, его предпочли бы отправить на Азорские острова или на остров Святой Елены; но он уже был на Эльбе, и из-за него более не тревожились, по крайней мере пока.

Александр думал иначе. Искренний либерал, хоть и не желавший быть пойманным на слове о свободе своими подданными, он тем не менее считал, что оставить французов свободными более достойно его славы, а оставить их довольными – более безопасно. Будучи знаком с людьми, желавшими учреждения разумных институтов, он беседовал с ними о будущей конституции, утвердился в своих великодушных устремлениях и поставил целью защищать интересы Сената, должником которого ему угодно было себя называть, ибо именно Сенату государи-союзники были обязаны низложением Наполеона. Будучи недоволен эмигрантами, набравшими в Париж из Англии и провинций, Александр задумал лично явиться в Компьень. Это было смелым демаршем, ибо ни король Пруссии, ни император Австрии туда не ездили. Но возраст и активность молодого императора объясняли его поступок, который в конечном счете только польстил Людовику XVIII. Александр хотел дать ему понять, что нужно не только одобрить конституцию, но и окружить себя людьми Революции и Империи, перестать отсчитывать начало своего правления с кончины Людовика XVII, уступить веяниям времени и быть особенно осторожным в отношении армии.

Людовик XVIII, предупрежденный о визите, решил принять императора Александра соответственно и отделаться от него так же, как от всех тех, кто притязал давать ему советы, – любезно, с достоинством и одними общими заверениями.

Едва о приходе Александра объявили, как толпа поспешила исчезнуть, оставив главу европейской коалиции и главу старой французской монархии наедине. Желая казаться благодарным, Людовик XVIII открыл объятия молодому императору и встретил его по-отечески. Не переставая благодарить за поддержку, предоставленную его семье, Людовик постарался отнестись свершившиеся чудесные события на счет высших сил и торжества великого начала монархического права, представителем которого являлся. Когда царь заговорил с ним о новом состоянии Франции, король дал понять, что не нуждается в разъяснениях; слушал из вежливости, как человек, которого молодой государь ничему научить не может; ничего не отвергал, но ни с чем и не соглашался; показал, что у него по всякому предмету есть готовые решения, сооб-

разные его власти, ни от кого не зависевшей, и его мудрости, в советах не нуждавшейся; дал понять, каковы эти решения, не пускаясь в объяснения, – словом, остался почти неуловимым.

Одно обстоятельство окончательно расстроило императора Александра: прибытие в Компьень депутации Законодательного корпуса, явившейся приветствовать короля, тогда как Сенат в Компьене появиться не соизволил. Когда орган, имевший притязания представлять нацию и приобретший некоторую популярность недавним сопротивлением Наполеону, простирается ниц перед монархической властью прежде, чем та даст какие-либо гарантии, сдержанность Сената теряет свою силу и выразительность. И Александр начал чувствовать себя докучливым советчиком, а потому решил ни на чем более не настаивать и вернулся восвояси, весьма разочарованный, хоть и осыпанный любезностями.

Потратив три дня на отдых в Компьене, Людовик XVIII решил двигаться в Сент-Уан, к вратам Парижа, чтобы сделать там последнюю краткую остановку перед вступлением в свою столицу. Он окончательно постановил, что обнародует лишь общую декларацию и тем расквитается с Сенатом. Тремя неделями ранее люди, которые хотели доставить Франции прочную свободу при старой династии, еще могли, опершись на Александра, преградить путь Людовику XVIII, пока он не предоставит всё, чего от него требовали. Но за несколько дней воодушевление народа достигло такого накала, что остановить короля стало невозможно: такая попытка выглядела бы как намерение остановить национальное движение руками иностранцев. Сенат, постепенно уступая, ослабил себя сам и с каждым днем сдавал позиции. Теперь сенаторы не могли уже добиться того, чтобы конституция происходила от взаимного соглашения нации и короля, что сообщило бы ей силу и неприкосновенность и обеспечило долговечность.

Итак, договорились ограничиться простой общей декларацией, и все сотрудники графа д'Артуа взяли за дело: Витроль, ставший его главным орудием, и господина Ла Мезонфора и Терье де Монсьель, известные роялисты. Король предоставил им действовать, доверив Блака присматривать за их работой и исправлять ее, а сам 1 мая прибыл в Сент-Уан.

Сенат пока не испрашивал аудиенции у Людовика XVIII. Однако следовало положить конец недопониманию между королем и учредительным органом, который, несмотря на всю ненависть и презрение к нему испытываемым, никто не осмелился распустить или упразднить, ибо за ним стояли чиновники, армия и государи-союзники. После достигнутого соглашения, то есть после допущения конституции и заполнения большинства мест в верхней палате, у Сената более не оставалось причин для серьезного недовольства. Сенаторы согласились нанести визит королю, и Талейран представил их в Сент-Уане Людовику XVIII, как представлял в Тюильри графу д'Артуа. Тщательно составленная речь Талейрана выражала идеи, уже повсеместно распространенные, и король в очередной раз выразил свое полное согласие.

День 2 мая был посвящен приемам, и времени для серьезных дел не оставалось. Декларация, которая являлась условием вступления короля в Париж, к концу дня не была даже составлена, вернее, имелось пять или шесть ее проектов. Блака провел с составителями часть ночи и принял один из проектов, достаточно смягчив выражения благодарности или демонстративной зависимости от Сената. Текст знаменитой *Сент-Уанской декларации* был датирован 2 мая, отправлен в королевскую типографию и к утру следующего дня размножен.

Вступление к декларации гласило:

«Призванные любовью нашего народа на трон наших отцов, просвещенные несчастьями нации, которой нам предназначено править, мы взываем к взаимному доверию, необходимому для нашего покоя и для благополучия народа.

Внимательно прочитав план Конституции, предложенной Сенатом на заседании 6 апреля, мы признаем, что основы ее хороши, но многие статьи

несут на себе печать поспешности и в их нынешней форме не могут стать законами государства.

Решив принять либеральную Конституцию, желая ее мудрого составления и не имея возможности принять то, что нуждается в исправлении, мы созываем на 10-е число июня месяца нынешнего года Сенат и Законодательный корпус и обязуемся представить их взорам наш заверченный труд, заложив в основу Конституции следующие гарантии...»

За вступлением следовал перечень гарантий, оставшихся неизменными.

После обнародования декларации, 3 мая 1814 года, Людовик XVIII приготовился вступить в Париж. Он отбыл из Сент-Уана в одиннадцать часов утра при стечении огромных толп, ехал в карете, запряженной восьмеркой лошадей, посадив рядом с собой герцогиню Ангулемскую, а перед собой обоих принцев Конде. Справа и слева от кареты двигались верхом граф д'Артуа и герцог Беррийский, за каретой – маршалы, за маршалами – кавалерия Национальной гвардии под командованием графа Дама.

Людовику XVIII был оказан самый теплый прием. Возможно, при встрече графа д'Артуа волнение от воспоминаний, которые пробуждали Бурбоны, и было сильнее, ибо тогда его испытывали впервые. Но размышления убедили всех, что нет ничего лучше, чем призвать Бурбонов, что только они обеспечат теперь мир и умеренность. Это было общее мнение среднего класса, судей здравых и беспристрастных в вопросах управления. Особенно хорошего мнения эти люди были о короле, заслужившем репутацию мудрого человека своим сдержанным поведением; а поскольку средний класс имел на народ большое влияние, то их рукоплескания Людовику XVIII вызвали горячие рукоплескания простых парижан. Благородное лицо монарха, смягченное удовольствием, понравилось всем, кто сумел его разглядеть. Радуюсь миру (а миру радовались все), публика с готовностью принимала образ престарелого отца, возвратившегося к своим чадам, и самые почтительные возгласы сопровождали карету с семьей Бурбонов до собора Нотр-Дам. После религиозной церемонии августейшее семейство направилось к своему вновь обретенному дворцу.

На следующий день представители государственных органов посетили королевскую семью и повторили всё те же речи. Войска союзников продефилировали перед Людовиком XVIII, сидевшим на балконе дворца в окружении европейских государей, которые любезно уступили ему главное место, желая таким образом засвидетельствовать уважение к Франции и ее королю.

После нескольких дней церемоний и приветствий приходилось, наконец, браться за нелегкое дело примирения прошлого с настоящим. Следовало предоставить компенсацию классам, измученным длительным изгнанием, не оскорбив при этом нацию, которая не желала, чтобы ее приносили в жертву чьим-то частным интересам;

изыскать в двадцати пяти годах кровавых ссор крупницы истинного и верного и попробовать составить новую систему правления. Это было делом трудным, почти невозможным, если только решающее влияние на двор и правительство не окажет твердый и просвещенный ум самого короля, одного из принцев или министров. Произойдет ли что-либо подобное? Ответа на этот вопрос никто тогда не знал.

Во время недолгого правления графа д'Артуа правительство носило временный характер, а министры именовались *комиссарами* различных министерств. Теперь нужно было сформировать правительство окончательно. Людовик XVIII сохранил заведенное графом д'Артуа разделение на королевский совет и министров, притом что некоторые министры были постоянными членами совета, а иных вызывали на его заседания лишь по конкретным делам их ведомств. Он только сделал окончательные назначения на все должности, и вот каковы были эти назначения.

Никто не хотел отстранять от управления финансами барона Луи, который за недолгий срок приобрел всеобщее доверие. Он и был назначен главой этого департамента. Генерал Дюпон, достаточно хорошо знавший армию и старавшийся всячески удовлетворить ее требования, был оставлен на должности военного министра. Малуэ, честный и трудолюбивый человек, остался морским министром. Из королевского совета призвали в правительство, одновременно оставив и в совете, Талейрана и Монтескью. Хотя комиссаром иностранных дел был Лафоре, переговорами о перемирии руководил Талейран, и только он мог вести переговоры об окончательном мире, а потому получил постоянную должность министра иностранных дел, оставшись и первым после принцев членом королевского совета.

Аббат Монтескью, несмотря на церковный сан, не желал быть ни кардиналом, ни послом при Святом престоле; он хотел стать министром во Франции. Сферу внешней политики, обреченную, по его мнению, на длительное затишье вследствие наступления мира, он охотно оставил Талейрану, которому она к тому же принадлежала по праву, а для себя приберег сферу политики внутренней, которой назначалось сделаться весьма бурной. Управление собственно полицией под наименованием *генерального управления*, почти равнозначного министерству, верили Беньо, ранее управлявшему департаментом внутренних дел.

Анрион де Пансе, при всеобщем к нему уважении, тем не менее лишился должности в управлении юстиции. Во главе правосудия хотели видеть человека, принадлежавшего к старым кругам, и выбрали Дамбре¹. Наконец, решили ввести в правительство получившего большое влияние при дворе Блака и предложили ему должность министра двора.

В свое время граф д'Артуа допустил Витроля в совет в качестве государственного секретаря. Однако работа государственного секретаря, стоявшего между государем и министрами и передававшего им приказы повелителя, становилась ненужной после изгнания Наполеона. При новом порядке вещей эта должность могла принадлежать только Блака, но была невозможна и для него. Ведь министры намеревались теперь работать с королем непосредственно и уже отказались принимать Витроля в качестве посредника графа д'Артуа. Новому государственному секретарю оставалась только одна обязанность – вести протоколы заседаний совета. Но члены совета единодушно восстали против ведения протоколов и сделали всё возможное, чтобы исключить Витроля, вознаградив его посредством какой-нибудь придворной должности. Однако советник проявил упорство, добился покровительства принцев и остался в совете с единственной обязанностью – регистрировать принятые решения и переписываться с «Монитором» и «Телеграфом».

Министром почты назначили Феррана, человека образованного, публициста, обладавшего упорством и всей страстностью крайних роялистов.

Таков был окончательный состав кабинета Людовика XVIII, если можно назвать кабинетом собрание министров, каждый из которых должен был действовать почти без связи с другими и с королевским советом. Кабинета, не имевшего главы, ибо король, человек ленивый и занятый исключительно чтением латинских авторов, возглавлять свой кабинет не мог. Это внушало опасения, что никем не руководимое правительство будет движимо только страстями времени, весьма неразумными, требовательными и бурными.

Через день после вступления в Париж король созвал совет, на который пригласил всех министров и принцев, по обычаю входивших в его состав. В своей вступительной речи он поверхностным образом коснулся всех предметов, словно желая в первый же день сказать хоть слово по каждому из них. Он заявил, что необходимо реорганизовать и привязать к династии армию, полностью преобразовать и привести в соответствие с финансовыми ресурсами флот

¹ Дамбре Шарль Антуан (1760–1829), виконт, адвокат Парижского парламента, в период Империи играл малозаметную роль и вел тайную переписку с Бурбонами. – *Прим. ред.*

и восстановить *королевскую гвардию*, указав, что мерой возможных преобразований станут финансовые возможности государства. Налоги необходимо сохранить и собрать, несмотря на неосторожные обещания их отменить; страданиям оккупированных провинций необходимо положить скорейший конец; переговоры следует как можно скорее довести до окончательного и не слишком унижительного мира; и, наконец, нужно завершить составление конституции не позднее 10 июня.

Наитруднейшей задачей было преобразование армии. Прежде всего следовало закрепить принцип рекрутского набора и принять разумное решение в отношении конскрипции, поскольку ее уже обещали упразднить. Несмотря на дезертирство, трудность состояла не в недостатке солдат, а, напротив, в их чрезмерном количестве и чувствах, которые они выказывали. Ожидалось прибытие ста пятидесяти тысяч солдат из гарнизонов и примерно такого же количества пленных из числа старых солдат – из Англии, Германии, России, Италии и Испании. То есть предстояло позаботиться об участии не менее четырехсот тысяч солдат и сорока тысяч офицеров. Министр финансов утверждал, что после уплаты государственных долгов сможет выделить на армию не более двухсот миллионов. Это означало, что денег едва хватит для содержания половины армии. Что касается флота, следовало, безусловно, отказаться от ста кораблей Наполеона, ибо такое количество было чрезмерным и тогда, когда Империя простиралась от Любека до Триеста и располагала вдвое большим количеством матросов, а теперь, когда Франция вернулась в границы 1790 года, оно стало бы просто нелепым.

Военного министра попросили составить план преобразований, по возможности удовлетворявший все интересы и учитывавший временный упадок финансов. Морскому министру разрешили подготовить обширные сокращения, ибо рассчитывали на длительный мир с Англией и более не хотели смущать эту державу дорогостоящим и бессмысленным развертыванием военно-морских сил. Весьма чувствительный к внешнему виду вещей, король выразил желание переменить названия некоторых кораблей, навевавшие воспоминания о революции, оставив, к примеру, такие названия, как «Аустерлиц» и «Фридланд», напоминавшие только о победах.

Наконец, дали высказаться и министру финансов, который не заставил себя упрашивать и вновь выразил бесповоротные намерения. Он полагал, что прежде всего необходимо выплатить все государственные долги, вне зависимости от их происхождения, даже те, что называли *долгами Буонапарте*, порожденные, к сожалению, ведением безрассудных войн. С кредитом всё получится, утверждал министр, если сделать всё необходимое, чтобы его заслужить. Но поскольку кредит не может покрыть все расходы, необходимо потребовать также строгой уплаты налогов. Однако город Бордо, к примеру, не считал необходимым платить объединенные налоги, и все города Юга, поощряемые его примером, также заявляли, что платить не будут. Если король не обратится к населению Юга с самыми твердыми словами, ресурс налогов исчезнет, а с ним исчезнет и всякий кредит.

Король согласился со словами барона Луи. Он выразил готовность обратиться с прокламацией к населению, введенному в заблуждение некоторыми необдуманно обещаниями, дабы вернуть людей, не отнимая надежды на будущее смягчение, к исполнению долга и напомнить, что налоги, как и закон, едины для всех, и благие мнения, при всей их благости, от уплаты налогов не избавляют. Было решено тотчас же составить такую прокламацию, облечь ее королевской подписью и обнародовать.

Стало очевидным, что непреложным законом для нового правительства должна быть экономия, ибо без экономии невозможно удовлетворить нужды всех служб и обеспечить армию, которую в высшей степени важно было к себе привязать. И потому никак не следовало думать о тратах на роскошь или прихоти. Однако Людовик XVIII самым естественным и решительным тоном говорил о восстановлении королевской гвардии. По его мнению, монархия подверглась

стольким несчастьям именно из-за отсутствия своего Военного дома, и он твердо решил его восстановить.

Нужно представлять, о чем шла речь, чтобы понять всю неосмотрительность восстановления старой королевской гвардии. Под названием *Красной свиты* намеревались объединить 2–3 тысячи дворян, пожилых и чуть ли не подростков, совершенно негодных к действительной военной службе; дать им пышное обмундирование и офицерские звания не ниже капитанских. Под названием *телохранителей* намеревались собрать 3 тысячи молодых людей, дав им звания младших лейтенантов кавалерии, и добавить к ним еще 4 тысячи артиллеристов и пехотинцев. В целом Военный дом составлял около 10 тысяч человек, которые должны были обходиться казне как 40–50 тысяч солдат армии, и это тогда, когда из армии предстояло, скорее всего, выкинуть 200 тысяч солдат и 30 тысяч офицеров, испытанных, покрытых ранами и обреченных на нищету. Гвардия должна была стоить не менее 20 миллионов, и было крайне неосторожно тратить подобную сумму из военного бюджета, давая тем самым армии, с неприязнью ожидавшей грядущих сокращений, лишний повод сравнить собственную нищету и богатство королевского дома.

Бурбоны сами приняли решения по важнейшим вопросам, ни один из членов совета не осмелился им возразить, промолчал даже министр финансов. Никто не воспротивился мере, которой суждено было стать для династии роковой. Впрочем, дабы засвидетельствовать внимание к нуждам армии, король объявил, что сформирует верховный военный совет из принцев, нескольких маршалов и наиболее выдающихся генерал-лейтенантов всех родов войск, и лично его возглавит.

Обсудив военные дела, заговорили о страданиях оккупированных провинций. Уже стало понятно, что соглашение от 23 апреля обернулось неслыханным обманом. Иностранные войска, которые должны были выводиться по мере возвращения крепостей, даже не шелохнулись. Их командиры желали сначала выгодно продать снаряжение из складов и арсеналов, которыми завладели. Жертвы, на которые мы пошли, выведя войска с многих отдаленных позиций первостепенной важности, остались вознагражденными, и надежда на немедленное облегчение была признана иллюзией.

Король высказался по этому поводу весьма горячо, а герцог Беррийский, всегда и так бурно выражавший свои чувства, сказал, что нельзя терпеть, чтобы Францию опустошали под предлогами, отныне безосновательными, ибо Наполеон уже отправлен на остров Эльба, а все командующие присоединились к новому порядку. Талейрану поручили переговорить с государями и их послами и объяснить самым категорическим образом.

Наконец, король, как мы знаем, ничего или почти ничего не сказал до сих пор о конституции, однако следовало срочно выполнить обязательство, взятое им в отношении Сената и Законодательного корпуса, созыв которых назначили на 10 июня. Государыни-союзники выказывали желание покинуть Францию и также спешили завладеть своей долей обломков великой империи. А потому они стремились поскорее заключить мир и давали понять, что сочтут свои обязательства в отношении Франции и тех, кто избавил их от Наполеона, полностью выполненными только тогда, когда будет исчерпан вопрос с конституцией. По всем этим причинам Людовик XVIII выказал желание перенести срок созыва Сената и Законодательного корпуса с 10 июня на 31 мая, что влекло за собой необходимость поспешить с составлением новой конституции.

Талейран, проинформированный министром внутренних дел о незаконных поборах и чудовищных бесчинствах, совершаемых в провинциях, побеседовал о них с государями-союзниками и их послами. Чтобы доказать их вину, довольно было предъявить соглашение от 23 апреля, ибо там было сказано, что сразу по его заключении реквизиции прекратятся, союзнические войска начнут попятное движение, а территории, через которые они будут выводиться, предоставят им только продовольствие. Хотя при выполнении статей конвенции и могли воз-

никнуть некоторые злоупотребления, творившиеся беззакония были настолько непомерны и отвратительны, что не допускали никаких извинений. Александр выказал искреннее возмущение происходившим и заверил, что послал все необходимые приказы и намерен их повторить. Король Пруссии, скупой и желавший выгод для своей армии, смутился и обещал дать новые инструкции. Князь Шварценберг говорил правильные слова, но искренность его вызвала сомнения.

Талейран заявил союзническим послам, что поскольку все согласны насчет незаконности происходящего, то не сочтут неправильным, если король обратится к подданным с прокламацией, где предпишет им отказывать в содействии любым поборам, реквизициям и продажам имущества, принадлежавшего государству. Послы не осмелились возражать, ибо не могли признать себя сообщниками недостойного поведения своих соотечественников, и тотчас была составлена прокламация, сообразная признанным ими истинам, которая и была доставлена на заседание королевского совета. В то же время в совет доставили и прокламацию относительно сбора объединенных налогов в южных провинциях.

Эта прокламация напоминала оккупированным провинциям о соглашении 23 апреля и призывала жителей верно исполнять его условия, хорошо относиться к союзническим армиям и предоставлять им во время отступления необходимое продовольствие, но также напоминала об обязательстве союзников не взимать более с Франции военных контрибуций и уважать частную и государственную собственность, предписывала отвечать отказом на любые незаконные требования и запрещала покупать лес, соль и предметы движимого имущества, выставляемые на продажу иностранными армиями, заранее объявляя подобные сделки незаконными и недействительными.

Эта прокламация была принята и незамедлительно обнародована, а прокламация, относившаяся к сбору объединенных налогов, встретила менее единодушную поддержку и сопротивление со стороны принцев. Однако министр финансов, поддержанный королем и коллегами, добился ее принятия, и она была обнародована вместе с первой прокламацией.

В ней, обращаясь к винодельческим департаментам, король говорил, что хотел бы, подобно Генриху IV и Людовику XII, назваться *отцом народа* и отменить налоги, но они, хоть и в смягченной форме, всё равно необходимы, пока не найдется средство их заменить или обойтись без них; что невозможно исполнить обязательства по отношению к государственным кредиторам и армии, если финансы будут расстроены; что нужно подать пример уважения законов, чтобы не впасть в анархию; что он надеется на то, что его подданные из южных провинций представят ему доказательства своей любви, подчинившись необходимости; что он предпочитает предупреждать их, а не наказывать, но если его голос останется неуслышанным, он будет вынужден строго наказать их, дабы воспрепятствовать расстройству финансов, нарушению законов и разорению государства.

Покончив со срочными делами, следовало заняться миром и конституцией, дабы окончательно облечь внешнее и внутренне положение Франции в законные рамки.

Естественно, главным уполномоченным правительства на важных переговорах о мире должен был стать Талейран, и даже для него задача оказалась не из легких. Предстояло решить два рода вопросов: касавшихся одной Франции и касавшихся всей Европы. Главные воюющие державы определились со своими пожеланиями и решили молча позволить друг другу захватить всё, что им заблагорассудится: Англия, в частности, решила присвоить себе Бельгию, дабы присоединить ее к Голландии и создать сильную монархию, отдалявшую Францию от устья великих рек; Австрия помимо Италии претендовала на часть берегов Рейна, дабы уступить их Баварии в обмен на Тироль; Россия и Пруссия претендовали на Польшу и Саксонию. Ради всех этих переустройств державы были полны решимости отнять у нас границу по Рейну. Но в то же время, даже при взаимном согласии на подобное расхищение, оставались нерешенными мно-

гие второстепенные вопросы, касавшиеся пропорциональности разделов, конкретных комбинаций и сохранения равновесия в Европе, дабы мелкие государства не оказались полностью принесенными в жертву интересам больших. Достичь согласия было нелегко, и все понимали, что потребуются долгие и мучительные усилия. Поэтому заранее решили, что для примирения всех интересов понадобится по меньшей мере несколько месяцев, и эти месяцы не хотели проводить в Париже.

Другая причина не обсуждать все вопросы в Париже состояла в том, что союзники не хотели доставить Франции возможность вмешаться в решение этих вопросов. Несмотря на желание прийти к согласию, они были почти уверены, что сначала такового не будет, что они не один раз поссорятся на пути к решению, и не хотели, чтобы Франция сделалась свидетельницей этих ссор. Помимо морального триумфа это дало бы ей возможность вновь занять сильную позицию и найти себе сильных союзников. Хотя члены коалиции и притворялись, что хотят обойтись с Францией лучше, чем намеревались в Шатийоне, на самом деле никто об этом не заботился: как при Наполеоне, так и при Бурбонах Францию стремились жестко запереть в старых границах и по возможности исключить из обсуждения великого переустройства Европы.

Меттерних по своем прибытии вновь обрел существенное влияние на переговоры и в силу глубокой и устрашающей проницательности понял, что прежде нужно закрепить отношения с Францией, и только после этого урегулировать отношения государств Европы между собой. Коварная мысль Меттерниха завладела и умами союзнических дворов, и они решили заключить в Париже только соглашения с Францией, а решение общих вопросов европейского равновесия оставить для конгресса в одной из великих столиц Европы. Поскольку в ту минуту все старались выказать чрезвычайную почтительность к Австрии, обеспечившей своим присоединением к коалиции всеобщее спасение, несмотря на отвращение и голос крови, будущий конгресс было решено созвать в Вене.

Вышеприведенные диспозиции не встретили возражений со стороны французских переговорщиков, ведь с первого взгляда они казались простыми и лишенными коварства. Ничто не мешало отложить решение многочисленных вопросов по установлению нового порядка вещей в Европе до созыва конгресса. Против столь правдоподобного и внешне обоснованного плана трудно было что-либо возразить, и возражений в самом деле не последовало, ибо мы сами спешили почтить себя миром, который должен был выглядеть столь счастливым контрастом между правлением Бурбонов и правлением Наполеона.

Главным из вопросов был важнейший вопрос о границах. От самого принципа границ 1790 года союзники так и не отступились, и ни один переговорщик в мире, разве что победивший Наполеон, не смог бы добиться от них уступки. За невозможностью обсуждения этого принципа было решено перенести все усилия на способ начертания границы, улучшение которой было нам обещано.

На королевском совете Талейрану рекомендовали добиваться получения обещанного приращения в 1 миллион подданных на севере Франции, не принимая его на юго-востоке, то есть в Савоие, ибо Людовику XVIII претило обирать родственный Савойский дом, который возрождался одновременно с домом Бурбонов. К тому же наша старая граница гораздо больше нуждалась в укреплении на севере, чем на юге. Талейрану предписали также требовать возвращения всех колоний и не соглашаться ни на какую военную контрибуцию.

Идея искать обещанное приращение на севере, а не на юге была весьма разумной. Таким образом действительно можно было необычайно улучшить границу и сделать ее почти столь же пригодной к обороне, как и рейнскую. Несколько выдвинув границу вперед и проведя через Ньюпорт, Ипр, Куртре, Турне, Ат, Монс, Намюр, Динан, Живе, Невшатель, Арлон, Люксембург, Саарлуи, Кайзерслаутерн и Шпейер, можно было обеспечить линию не только более протяженную, но и более прочную, ибо так мы дополняли крепости, которыми уже обладали, целым рядом бельгийских крепостей. К крепости Люксембург мы присоединили бы позицию

Кайзерслаутерн в Вогезах и Ландау на Рейне, что стало бы возмещением за линию Рейна и огромным улучшением в сравнении с состоянием 1790 года. Ради такой территории стоило бы выиграть несколько сражений.

Лафоре и д'Осмон, помогавшие Талейрану на переговорах, наметили эту новую линию на карте и предложили ее на первом же собрании переговорщиков, на котором Талейран не присутствовал. Они подкрепили свое предложение хорошо обоснованной запиской, в которой напоминали о неоднократных обещаниях союзников сохранить величие и силу Франции и утверждали, что, во избежание нарушения равновесия, при наличии территориальных приращений держав Европы Франция не должна оставаться с тем, чем обладала в конце прошлого века.

Прослушав записку и взглянув на карту, иностранные представители горячо возмутились притязаниями и выказали величайшее удивление. По их словам, в инструкциях говорилось только о границах 1790 года и ни о каких возможных приращениях им известно не было. Наши притязания оказались для них столь новы и неожиданны, что они отказались их обсуждать, и переговорщикам пришлось расстаться, чтобы все могли снестись со своим руководством.

Французские комиссары рассказали Талейрану о том, какое впечатление произвело их первое предложение, и тот понял, что ему придется беседовать с монархами и послами самому. Когда им требовалось добиться вывода наших войск из важнейших крепостей, они давали весьма расплывчатые обещания и если теперь отрицали их, он не имел средств упрекать их в недобросовестности, один намек на которую был бы оскорбителен.

Талейран устроил несколько бесед с лордом Каслри, Нессельроде и Меттернихом – тремя лицами, которые только и могли иметь некоторое влияние в этом спорном вопросе. Лорд Каслри представлял державу, в отношении которой Людовик XVIII выказывал величайшую признательность и имел право рассчитывать на некоторую взаимность. Ничуть не бывало. Английский министр выказал простоту и дружелюбие, а в остальном был в точности таков, каковы бывают англичане, когда затрагивают их интересы. Англия желала прочного учреждения Королевства Нидерланды, могла счесть цель достигнутой только при присоединении к нему Бельгии и, разумеется, не намеревалась, отнимая у нее крепости, способствовать ее ослаблению. Она еще не забыла о континентальной блокаде и старалась закрыть Франции доступ к побережью. Лорд Каслри высказал свое мнение вежливо, но категорично.

Беседы с Нессельроде и Меттернихом оставили не многим больше надежды, хотя ни тот, ни другой не имели личной заинтересованности, ибо ни Россия, ни Австрия не придавали значения нашей границе с Нидерландами. Но Нессельроде выказал холодность, что довольно точно отражало настроения его повелителя, ибо высокомерие Людовика XVIII, его нежелание удовлетворить просьбы России и особенно настроения, приведшие к восстановлению Бурбонов, чрезвычайно не нравились императору Александру. Так, поспешив пожаловать голубую ленту ордена Святого Духа принцу-регенту Англии [Георгу IV], Людовик XVIII даже не подумал предложить ее российскому императору, который был главным творцом падения Наполеона и реставрации Бурбонов. Александр охладел к Бурбонам и охотно говорил союзникам о своих сомнениях в том, что восстановление монархии было наилучшим решением для Франции и всей Европы.

Франция могла надеяться на лучшее со стороны австрийцев, поскольку с некоторого времени Людовик XVIII находил с тестем Наполеона больше взаимопонимания, чем с кем-либо из государей-союзников. Меттерних выказывал в отношении Бурбонов дружелюбие и расположение, но казался чрезвычайно смущенным. Дело было в том, что, обнаружив рост влияния России, Австрия вновь тесно примкнула к Англии, своему старинному другу и союзнику. Она была во всем с ней согласна и ожидала от нее неограниченного содействия в итальянских делах. А поскольку Англия категорически высказалась за возвращение Франции к границам 1790 года, Австрия не могла иметь по этому предмету иного мнения. Меттерних дал понять,

что у его повелителя нет личных причин отказывать Франции в расширении территории, но воля Англии станет для Австрии законом.

Было очевидно, что поддержки нам ждать более не от кого, ибо Пруссия не захотела бы вмешиваться в подобный вопрос, а если бы и вмешалась, то не на нашей стороне. Фридрих-Вильгельм имел к нам денежные претензии, которые его чрезвычайно волновали, и не захотел бы, выступив против союзников, вызвать охлаждение последних. Поэтому надеяться нам, по крайней мере пока, было не на что. Оставалось только доложить о ситуации королевскому совету и получить его распоряжения.

Соглашение от 23 апреля, в силу которого французы оставили большинство крупных европейских крепостей, уже на протяжении некоторого времени вызывало всеобщее осуждение. По правде говоря, мы ошиблись и, пожелав как можно скорее положить конец военным невзгодам, ни на день не укоротили страданий оккупированных провинций. Когда Талейран рассказал о недобросовестности союзников, почти все присутствовавшие выказали такое недовольство соглашением, лишившим нас всех наших залогов, будто прежде не стремились сами же его заключить. Герцог Беррийский, не подумав, что обвиняет собственного отца, с присущей ему порывистостью воскликнул, что это расплата за ошибку, которую совершили, поспешно подписав губительное перемирие. Король насмешливо глядел на брата и племянника и явно одобрял слова последнего. Живо задетый, граф д'Артуа заявил, что теперь легко говорить о соглашении, что правительство в первые минуты делало всё возможное и те, кто его порицает, вероятно, поступили бы на его месте не лучше. Бывший автором соглашения Талейран и вовсе отвечал на нападки пренебрежительным молчанием.

Тем не менее страстно стремились заключить и обнародовать мир, дать стране им наслаждаться, а себе присвоить честь его подписания. Поэтому Талейрану приказали покориться необходимости и отступить от плана начертания границ, задуманного представителями союзников. После отказа от линии, включавшей бельгийские крепости, пограничный вопрос утрачивал почти всю важность. Речь шла уже только о некоторых спрямлениях, которые могли сообщить границе чуть более правильные начертания и дать Франции лишнюю сотню тысяч подданных да одну-две третьеразрядных крепости, но ничего, что стоило бы Монса, Намюра и Люксембурга.

После многодневных дискуссий нам уступили эти малозначимые спрямления, которыми всё же не стоило пренебрегать. Между Мобёжем и Живе наша граница 1790 года образовывала исходящий угол, оставлявший Живе на его острие. От Мобёжа к Живе провели слегка вогнутую линию, которая уничтожила исходящий угол и дала нам еще две крепости – Филиппвиль и Мариенбург. Оставив вовне Люксембург, решили присоединить Саар таким способом, чтобы оставить нам Саарлуи. Не доходя до Кайзерслаутерна, приняли нечто среднее между линией, которую мы просили, и линией 1790 года, и прочертили границу по Квайху, что имело некоторую ценность, ибо теперь Ландау оказывался не изолированным, как некогда, среди германской территории, а полностью привязанным к французской земле.

С упомянутыми приращениями и с анклавами Монбельяра и Авиньона, которые не хотели возвращать ни Германии, ни Риму, мы не получили еще и половины обещанного миллиона жителей. Поискав на юго-востоке, то есть в Швейцарии и в Савойе, нам отдали несколько кусков Жекса близ Женевы, а затем, начертав границу через Савойю, – Шамбери и Анси. Новая граница была хуже той, которую требовали наши представители, но она была лучше границ 1790 года, к которым нас отбросили позднее в наказание за события 1815 года.

В итоге принципы будущего европейского равновесия описали в следующих расплывчатых выражениях:

государства Германии будут независимы и объединены в федерацию;

Голландия будет помещена под суверенитет Оранского дома, получит приращение территории и никогда не перейдет под суверенитет иностранного государя;
независимая Швейцария продолжит управлять собой сама;
Италия, за пределами стран, которые вернутся к Австрии, будет состоять из суверенных государств.

Столь обобщенное описание европейского устройства легко позволяло скрыть от широкой публики, в каких соотношениях главные участники раздела распределяют меж собой отобранные у Франции территории. Нам оставили печальную честь принять изменения в тайных статьях, которым назначалось скорее связать нас, нежели позволить что-либо изменить. Вот каковы были эти статьи:

Голландия получит от Франции территории, расположенные между морем, французской границей 1790 года и Маасом;

территории, уступленные Францией слева от Рейна, послужат компенсациями германским государствам;

австрийские владения в Италии будут ограничены По, Тичино и озером Маджоре;

король Сардинии получит в возмещение за часть Савойи, уступленную Франции, территорию бывшей республики Генуя.

Так, Бельгия должна была целиком отойти к Голландии; Бавария получала часть бывших церковных электоратов в обмен на Тироль, возвращаемый Австрии; Австрия должна была приобрести, помимо прежних земель, всю территорию республики Венеция; Королевство Сардиния поглощало Геную. Таким образом, список независимых государств значительно сокращался. Ни слова не говорилось ни о Саксонии, ни о Польше, ибо этого спорного предмета коснуться пока не решались.

Оставалось договориться о колониях. Тут, казалось, Франция получит вознаграждение за жертвы на европейском континенте и, хоть и не получит прибавлений, но по крайней мере не подвергнется и сокращениям. Однако оказалось, что жертвы принесены еще не все.

Сначала заговорили о Мартинике и Гваделупе (последнюю обещали забрать у Швеции и вернуть Франции) и об острове Бурбон в Индийском океане, и заговорили о них непринужденно, как о владениях, возвращение которых не подлежало сомнению. Однако об Иль-де-Франсе, этой Мальте Индийского океана, промолчали. Что с ним хотели сделать? Держава, захватившая Мыс Доброй Надежды у своей союзницы Голландии и коварно захватившая у Европы Мальту, объявила, что помимо Мыса и Мальты ей нужен и Иль-де-Франс, потому что он означает дорогу в Индию. Нам, конечно, оставляли остров Бурбон, но великую морскую крепость Иль-де-Франс пожелали забрать себе.

Когда королевскому совету доложили об этих новых требованиях, все его члены были потрясены; стало понятно, что значит полагаться на великодушие врага. Англичане выразили также намерение забрать у нас некоторые из Антильских островов (Сент-Люсию и Тобаго), что в сравнении с Иль-де-Франсом было незначительной потерей.

Мы прибегли к частным связям с лицом, которое располагало всеми возможностями в морских делах и почти всеми в делах континентальных, то есть с лордом Каслри. Талейран нашел его спокойным и даже мягким, но непоколебимым, как скала. Он не добился от английского министра ничего. Витроль, менее сдержанный, имел с англичанином бурную беседу и добился только циничного признания британских амбиций. «Всякая позиция на пути в Индию, – сказал лорд Каслри, – должна и будет принадлежать нам». Витроль напомнил ему о сделанных после перехода через Рейн и при вступлении в Париж заявлениях. Но лорд Каслри, похоже, считал, что державы выполнили свое обещание, обойдясь с Францией не так, как обошлись некогда с Польшей.

Пришлось вновь покориться, ибо не было средств противостоять необузданным амбициям сговорившихся против Франции держав. Подобные действия наводили на размышления,

которых наши угнетатели совершенно не предполагали: своими решениями союзники делали Наполеона в глазах Франции гораздо менее виновным, а Бурбонов – гораздо менее популярными.

Оставалось решить лишь один вопрос, также важный, но особенно унижительный, – вопрос о военных контрибуциях. Только одна из воюющих держав имела к Франции претензии – Пруссия. И это оставляло нам некоторые шансы уклониться от ее жадности. Все державы Европы за последние двадцать лет принимали наши армии и терпели неудобства, связанные с их присутствием, но Пруссия, следует признать, претерпела более других. И теперь она хотела получить компенсацию не только за контрибуции, которые налагал на нее Наполеон, но и за последствия нашего пребывания на ее территории во время кампании 1812 года. Конечно, Пруссия сильно пострадала за время долгих войн, но если вспомнить, что в 1792 году она первой напала на Францию, вмешавшись в ее внутренние дела; что в 1806 году она предалась безрассудным страстям против Франции, а совсем недавно, во время вторжения, поведение ее солдат было отвратительным, пришлось бы согласиться, что она так же виновата перед Францией, как Франция перед ней. Потому мы были не намерены уступать требованиям Пруссии. Однако ее король, честный, но скупой человек, держался за денежные требования так же крепко, как Австрия за итальянские провинции, а Англия за морские владения. И нам представили счет, пригласив изучить его, если не с требованием расплатиться по нему немедленно, то по крайней мере в близких к тому выражениях.

Талейран решительно отверг эти требования, заявив, что не желает и не будет под ними подписываться, и немедленно сообщил о них королевскому совету. На сей раз удара не выдержал никто. Король выказал негодование, которое разделили все, и сказал, что лучше потратит триста миллионов на войну с Пруссией, нежели сто на удовлетворение ее требований. Он заявил, что категорически отвергает новое бремя, которое хотят наложить на его подданных. Весь совет рукоплескал его решению и вновь сожалел о злосчастном соглашении от 23 апреля. Герцог Беррийский воскликнул, что с вернувшимися гарнизонами и пленными у нас будет 300 тысяч человек, что нужно броситься с ними на союзников, у которых всего 200 тысяч, и после такого акта патриотического отчаяния его семья навсегда вернет себе сердца французов. Талейран не сказал «нет» и только заметил, что этим 300 тысячам, с которыми хотят обрушиться на союзников, обязаны столь резко порицаемому соглашению от 23 апреля.

Категорически отвергая требования Пруссии, Талейран понимал, что бросать 300 тысяч французов на 200-тысячное войско неприятеля всё же опасно, ибо полководец, умевший так славно использовать французов, находился на Эльбе. А потому он решил воззвать к разуму союзников. Повидавшись с лордом Каслри, императором России и Меттернихом, он сказал им, что король и принцы полны решимости сорвать из-за этого вопроса подписание мира; что это значит поставить под угрозу не только великое дело восстановления мира, но и восстановление порядка в Европе; что унижать Бурбонов и лишать их популярности – значит идти против цели, которой предполагают достичь; что, наконец, приносить столь высокие интересы в жертву жадности Пруссии неразумно, недостойно и непочтенно. Лорд Каслри, всегда рассудительный, когда речь шла не о Королевстве Нидерландов, о Мысе или Иль-де-Франсе, и Меттерних, всегда готовый судить о Пруссии без льстивых иллюзий, встали на сторону Талейрана. Деликатный император Александр, краснея от стыда за жадность своего друга Фридриха-Вильгельма, пришел к тому же мнению, и общими усилиями они вынудили короля Пруссии уступить.

Частная контрибуция Пруссии была тем самым отклонена. Оставалась контрибуция общая, основанная на праве победителя применительно к арсеналам, складам и некоторому государственному имуществу. Согласно конвенции от 23 апреля иностранные армии должны были со дня ее подписания отказаться от управления оккупированными провинциями, прекратить взимать контрибуции и не удерживать государственную собственность. Но они заяв-

ляли, что за военное имущество, захваченные склады, просроченные контрибуции и вырубленный лес им причитается определенная сумма. Ее бесстыдно оценили в 182 миллиона. Доля Пруссии в этой сумме была наиболее значительной, а на долю Англии не приходилось ничего, ибо эта держава, жадная до территорий, была замечательно сговорчива в отношении денег.

Касательно этой новой военной контрибуции королевский совет выказал такую же категоричность. Лорд Каслри и Нессельроде поддержали Талейрана; оба французских комиссара энергично отстаивали французские интересы. В конце концов остановились на сумме в 25 миллионов, немногим превышавшей сумму, которую Франция обязана была заплатить по законам военного права.

Раздел военно-морского флота, содержавшегося в портах, уступленных Францией, был отложен до переговоров об окончательном мире. Очевидно, что весь флот – 26 линейных кораблей на плаву и 20 строившихся кораблей, огромное количество меньших судов и запасы, находившиеся в портах Гамбурга, Бремена, Амстердама, Роттердама, Антверпена, Флиссингена, Остенде, Генуи, Ливорно, Корфу и Венеции, – был создан на деньги Франции; что порты, где он строился, поставляли только рабочие руки и материалы, скрупулезно оплаченные, и это становилось для портов выгодой, а не бременем, поскольку мы предоставляли работу населению и помогали распространению местных продуктов. В эту категорию не попадал только голландский флот, построенный до присоединения к Империи, и потому он по праву должен был отойти к Нидерландам. Решили, что этот флот будет возвращен без всяких условий: две трети из 46 линейных кораблей и более мелких судов будут принадлежать Франции, а одна треть – тем портам, в которых они находятся.

Оставалось урегулировать последний вопрос, вопрос о наших музеях. О нем почти не говорилось, и не без умысла. Государи усвоили обыкновение ежедневно посещать созданные Наполеоном музеи и любоваться сокровищами всей цивилизованной Европы. Они сочли своим долгом уважать коллекции, которыми так пылко восхищались, и музеи, где их принимали с великой готовностью. К тому же этот вопрос затрагивал в основном французскую гордость, которую старались пощадить, и Южную Италию и Испанию, которые внушали державам весьма небольшой интерес. Поэтому захваченные нашими армиями шедевры остались у нас. Их нам оставили по умолчанию, попросту воздержавшись от разговора о них.

Труд был окончен 30 мая, получил наименование *Парижского договора* и включал раздельные документы, подписанные Францией с Англией, Россией, Австрией и Пруссией, которые принимали обязательства от имени всей Европы. К подписантам добавили Швецию, из-за Гваделупы, которой она недолгое время владела, и Португалию, из-за части Гвианы, которую нам возвращали. Мир с Испанией должен был обговариваться отдельно, поскольку у этой державы не было представителей в Париже.

Мирный договор предполагалось обнародовать одновременно с конституцией, над которой не переставали трудиться во время переговоров. Государи-союзники, спешившие вернуться в свои государства, желали убедиться, что все дела Франции окончены, и настоятельно просили Людовика XVIII выполнить сент-уанские обещания, за которые чувствовали себя в некотором роде ответственными, в том числе в отношении людей, доверившихся им в надежде быть защищенными от притеснений со стороны эмигрантов. Поэтому над конституцией трудились со всей активностью и даже с либеральным настроением, что действительно заслуживало уважения, особенно если подумать о взглядах роялистской партии того времени.

Составление конституции король доверил Монтескью и Феррану, будучи уверен, что единственному дорогому его сердцу принципу монархического права со стороны этих старых роялистов ничего не угрожает. Что до остального, в этом он доверял им больше, чем себе. Он присоединил к ним Бенью, способного подыскать слова, пригодные для примирения различных мнений, и порекомендовал ему сохранять всё в тайне от Талейрана. Хотя Людовик XVIII и был

более склонен позволять своим министрам самостоятельность, нежели обыкновенно склонны к тому короли, он всё же не хотел иметь главного министра, влиявшего на все дела или звавшегося в случае затруднений на помощь императора Александра.

Текст, набросанный Монтескью и Ферраном, представили Людовику XVIII, который отослал его, ничего или почти ничего в нем не изменив, двум комиссиям, от Сената и от Законодательного корпуса, сообразно Сент-Уанской декларации.

В тексте проекта постарались использовать выражения, из которых вытекало, что новая конституция происходит от воли монархии, осведомленной о нуждах времени и действующей по внушению собственной мудрости, как она поступала некогда, освобождая коммуны, учреждая парламент и реформируя гражданские законы.

Четыре королевских комиссара представили Людовику XVIII внесенные в проект конституции улучшения, и он их одобрил без труда, сказав, что хочет, чтобы проект единодушно приняли обе комиссии.

Намеченный срок обнародования конституции перенесли на четыре дня, то есть на 4 июня. Оставалось решить вопросы датирования и наименования документа. Что до даты, Людовик XVIII не допустил обсуждения. Он считал, что его правление началось в день кончины сына Людовика XVI и продолжалось даже в те времена, когда Наполеон, сделавшийся по желанию французской нации императором, одерживал победы при Аустерлице, Йене, Фриланде и Ваграме и подписывал Пресбургский, Тильзитский и Венский договоры. То были лишь *происшествия узурпации*, таявшие как дым перед незыблемым принципом монархического права. Соответственно, Людовик XVIII пожелал датировать конституцию девятнадцатым годом своего правления. Что до наименования, он выслушал мнение каждого. Согласно Дамбре, новую конституцию следовало назвать *преобразовательным ордонансом*, подобно ордонансам, некогда издававшимся королями для преобразования отдельных частей французского законодательства. Сначала такое наименование понравилось Людовику XVIII, но затем Бенью предложил другое. Когда французские короли жаловали законное существование коммунам или различным гражданским и религиозным учреждениям, они выдавали им документ, именованный *хартией*. Подобные аналогии льстили уму и королевской гордости Людовика XVIII, и он принял ставшее впоследствии столь знаменитым слово *хартия*, добавив к нему эпитет *конституционная*, дабы лучше охарактеризовать ее предмет.

После решения этих двух вопросов Бенью оставалось только заняться деталями текста, и он покончил с ними за несколько часов. Король сам написал и заучил наизусть свою речь, и, казалось, ничто, кроме этой речи, его уже не занимало. После его речи Дамбре должен был изложить основные принципы хартии, а Ферран – зачитать ее текст. Затем, в присутствии двух палат, созванных для инаугурации новых институтов, должны были огласить несколько королевских ордонансов: в частности, список пэров, включавший 83 бывших сенатора, четыре десятка старых герцогов и нескольких маршалов, не входивших ранее в состав Сената. Из пэрства исключались 55 сенаторов: 27 – как иностранцы и 28 – как цареубийцы или особо отличившиеся во времена Революции и Империи. Все бывшие сенаторы при этом сохраняли свои дотации. Законодательный корпус преобразовывался в палату депутатов и заседал вплоть до своего постепенного обновления.

Утром 4 июня внушительный парад французских войск предшествовал заседанию в присутствии короля. Большая часть войск союзников была уже в пути. Остальные готовились отбыть днем и в последующие дни. Император Александр, торопившийся нанести визит принцу Уэльскому, не стал дожидаться королевского заседания и покинул Париж. В день отъезда он потребовал, чтобы дети королевы Гортензии, покровителем которых он стал, получили герцогство Сен-Лё со значительной дотацией. Он хотел также приличествующего положения для принца Евгения, но этот вопрос отложили для решения на Венском конгрессе. Александр

уехал, очарованный французами, которых, в свою очередь, очаровал любезностью и добротой, но недовольный королевской семьей, которой не понравился склад его ума. Король Пруссии и император Австрии покинули Париж почти в то же время.

Людовик XVIII пересек сад Тюильри в карете, в окружении принцев и маршалов, и в три часа пополудни прибыл во дворец Бурбонов. Он вошел во дворец, опираясь на руку герцога Грамона, и занял место на троне, посадив на более низких сиденьях по правую и по левую руку герцога Ангулемского, герцога Беррийского, герцога Орлеанского и принца Конде. На заседании не доставало только графа д'Артуа, страдавшего от приступа подагры и тоски, причину которой мы вскоре назовем. В большом количестве собралась публика, пресытившаяся военными зрелищами, при которых столько раз присутствовала, и начинавшая чувствовать вкус к зрелищам политическим. В зал впустили самых видных жителей Парижа, а на скамьи обеих палат рассадили пэров и членов Законодательного корпуса. Короля встретили приветственными возгласами, и крики «Да здравствует Король!» не смолкали несколько минут. Людовик XVIII, растроганный и ободренный, взял слово и звучным голосом произнес следующую речь.

«Господа, – сказал он, – впервые вступив в эту ограду вместе с великими представителями нации, не перестающей расточать мне самые трогательные знаки любви, я счастлив, что могу наделить мой народ благодеяниями, которые соблаговолило дать ему божественное Провидение.

С Австрией, Россией, Англией и Пруссией я заключил мирный договор, в который включены все их союзники, то есть все христианские государи. Война была всеобщей; всеобщим стало и примирение.

Место, которое Франция всегда занимала среди народов, не передано никакому другому народу и осталось за ней безраздельно. Безопасность, обретенная другими государствами, означает и ее безопасность и усиливает ее истинное могущество. Потому ее отказ от завоеваний не умаляет ее действительной силы.

Слава французских армий не понесла ущерба: памятники их доблести продолжают существовать, и шедевры искусства отныне принадлежат нам, по праву более прочному и священному, нежели права победителя.

Торговые пути, столь долго остававшиеся закрытыми, теперь свободны. Не один рынок Франции открывается дарам ее земли и промышленности. Все потребные ей продукты и товары, необходимые для ее ремесел, будут поставляться нашими возвращенными заморскими владениями. Франции не придется более терпеть лишения или же получать эти товары на разорительных условиях. Наши производители вновь расцветут, наши приморские города возродятся, и всё нам обещает, что долгий покой вовне и длительное благополучие внутри станут счастливыми плодами мира.

Одно мучительное воспоминание нарушает мою радость. Я родился и надеялся всю жизнь оставаться верным подданным лучшего из королей и сегодня я занимаю его место! Но он умер не весь: он продолжает жить в завещании, предназначенном для просвещения августейшего и несчастнейшего дитяти, которому я должен был наследовать! И вот, не сводя глаз с его бессмертного труда, проникнутый чувствами, его продиктовавшими, руководимый опытом и споспешествуемый советами многих из вас, я составил *Конституционную хартию*, которую вам сейчас зачитают и которая закладывает прочные основы благоденствия Государства.

Мой канцлер ознакомит вас более подробно с моими отеческими намерениями».

Эту простую и достойную речь, посвященную хартии и миру, слушали поначалу в благоговейном молчании, а затем перекрыли рукоплесканиями. Король был восхищен успехом, не только политическим, но и личным. Канцлер зачитал речь, в которой привел причины появления хартии, – с очевидным намерением представить последнюю роялистам как неизбежную и заявить, что она происходит от королевской воли. Затем Ферран глуховатым голосом зачитал

текст самой хартии, и, насколько можно было судить при быстром чтении, она удовлетворила и несговорчивых, ибо почти повторяла конституцию Сената.

По окончании чтения канцлер принял присягу пэров и депутатов. Публика, затаив дыхание, внимала громким именам старой монархии, которых не слышала давно, и громким именам Империи, не раз звучавшим в славных бюллетенях Наполеона, а теперь оказавшихся в списке клявшихся в нерушимой преданности Бурбонам.

Церемония совершилась в торжественном порядке и без происшествий, которых так опасались. Людовик XVIII вернулся в Тюильри после шумных рукоплесканий обеих палат и личных поздравлений всех тех, кому почтение позволяло обратиться к королю с комплиментом. Во всей торжественной церемонии король видел только одно – свою речь, радовался только одному результату – своему личному успеху. Порой рукоплескать государям – большое искусство, как, впрочем, и молчать перед ними. На сей раз рукоплескания палат и публики были как нельзя более кстати, и король радовался хартии так, будто она была его любимым трудом. Но справедливости ради следует признать, что она была в основном детищем Сената, то есть бывших представителей Французской революции, вернувшихся к своим истинным мнениям в день падения Наполеона и не захотевших, чтобы крах этого необыкновенного человека сделался и крахом принципов 1789 года. Следует добавить, что хартия была в некоторой степени и детищем государей-союзников, не любивших, конечно, конституции, но считавших делом чести сдержать слово, данное Сенату в награду за его услуги, опасавшихся безрассудств эмиграции и считавших полезным обуздать их не только в интересах Франции, но и в интересах Европы.

Однако видимость (обманчивую или нет) нередко должно принимать за действительность, и поступили правильно, приписав хартию Людовику XVIII, который принял в ней некоторое участие. Хотя часть членов Сената и была исключена из пэрства, Сенат не мог жаловаться, ибо те из его членов, что были исключены, никак не могли фигурировать при новом порядке вещей. Однако исключение некоторых лиц было достойно великого сожаления. Маршал Массена, к примеру, был исключен потому, что родился в одном лье от границы 1790 года, а маршал Даву – потому что возмутил державы обороной Гамбурга. Законодательный корпус был принят целиком, до его обновления на одну пятую.

Хартия содержала все принципы подлинной представительной монархии и не понравилась только крайним роялистам. Она получила одобрение лучшего из судей, Сийеса, который без колебаний сказал, что с такой хартией Франция может, если захочет, стать свободной и что никакие завоевания Революции не погибли в катастрофе Империи, за исключением наших границ, единственной серьезной и достойной сожалений потери.

Парижский договор, обнародованный одновременно с хартией, не имел такого же успеха. Конечно, невозможно было любить мир больше, чем любила его тогда Франция, и у нее были все основания для подобных чувств; но обнародованный от 30 мая договор означал не сам мир, которым наслаждались уже с 23 апреля, а его цену, и цена эта была ужасна. Договор произвел самое неприятное впечатление не только на людей, пострадавших от последней революции, но и на беспристрастные и незаинтересованные классы населения. В начертаниях наших границ чувствовалась жестокая рука врага. Никто не надеялся, конечно, на сохранение прежних географических пределов и на то, что победившая Европа, дойдя до Парижа, оставит нам Рейн; однако, слыша беспрестанные заявления о том, что при Бурбонах с Францией обойдется лучше, чем при Бонапартах, люди стали строить иллюзии. При внезапном выявлении печальной действительности, при уменьшении Франции до положения 1790 года, при частичном исчезновении колоний население ощутило глубокий гнев, особенно в портах, где мира желали как нигде пылко. Потеря острова Иль-де-Франс вызвала особенное сожаление и гнев против Англии, которую обвинили в желании помешать возрождению нашей торговли. В адрес извечной соперницы было сказано немало горьких слов, а после Англии больше всего прокля-

тий досталось Австрии. Поведение этой страны, которое легко оправдывалось с точки зрения политики, но с трудом – с точки зрения природы, навлекло на нее великую нелюбовь французов. Теперь ей готовы были приписать всё самое дурное влияние и всячески выказывали это ее государю, принимая его всюду с крайней холодностью.

Лучше было бы, конечно, не доискиваться более или менее истинных причин наших бед, а искать только средства для их исправления. Но, как обычно, предпочитали упрекать в них друг друга и находить в них предметы для горьких препирательств. Приверженцы Революции и Империи упрекали Бурбонов в том, что они пришли вслед за врагом и вернулись во Францию только для того, чтобы довершить ее унижение. Роялисты, вместо того чтобы отвечать, что не они привели врага, а Наполеон своим честолюбием отворил врагу врата Франции, насмехались над горестями патриотов, к которым должны были бы проявить уважение. Роялисты говорили также, что потеря зерновых угодий компенсируется возвратом угодий сахарных, кофейных и хлопковых, не менее необходимых. Они высмеивали торговлю Империи, обреченную мучительно преодолевать на повозках огромные пространства континента, и горделиво сравнивали с ней имевшую крылья морскую торговлю, которую обещали нам вернуть.

Мы были неправы, упрекая роялистов в несчастьях, которые навлек на Францию Наполеон. Нужно было понимать, что, хотя Наполеон и умалил Францию, пожелав чрезмерно возвеличить, у нас оставались огромная слава, единство и прогресс всякого рода, которыми мы были обязаны Революции и Империи, а также животворящий гений Франции; и что через несколько лет мира и разумного либерального правления мы сможем вернуть себе моральное и физическое превосходство, никогда не зависевшее от обладания той или иной провинцией. Вот в чем следовало находить подлинное и даже единственное утешение. Но дело в том, что во время болезни люди находят не меньшее, а порой большее удовольствие в жалобах, нежели в облегчении или излечении. Жалобы утешают, и тем больше, чем они горше. А потому следует позволить людям жаловаться, стараясь только не верить тому, что они говорят, особенно тогда, когда имеешь честь держать в руках весы истории.

LV Правление Людовика XVIII

После возвращения Бурбонов не прошло и двух месяцев, а Франция уже являла собой самый странный контраст с тем, чем была или казалась последние пятнадцать лет. Ведь при начале Империи, на исходе кровавой революции, во время которой люди с таким неистовством бросались друг на друга, всех подхватила могучая рука Наполеона, и французы погрузились в полную физическую и моральную неподвижность, будто забыли самих себя, свои страсти и мнения. Внезапное падение Наполеона, освободив их от его железной хватки, восстановило чувства, сообразные ситуации. Роялисты ощутили необычайную радость, революционеры – радость и тревогу, бонапартисты – потрясение внезапностью удара. Мнимое единство Империи внезапно рассыпалось, и вновь оказались лицом к лицу дворяне и буржуазия, богомольцы и философы, присягнувшие и не присягнувшие священники, солдаты Конде и солдаты Республики, готовые схватиться, если правительство не сдержит и не укроит их примером здравомыслия.

Разобщение проявилось и при дворе. Граф д'Артуа, глубоко задетый всеобщим осуждением его недолгого правления, сокрушенный тем, что невыгодный мир приписали заключенной им конвенции, а трудности взимания налогов – его поспешным обещаниям, удалился в Сен-Клу предаваться своим горестям, а тем временем его друзья образовали при дворе группу недовольных. Вокруг нее сплотились все, кто открыто называл короля якобинцем и находил, что Революции делают слишком много уступок.

Тогда как в Тюильри образовалась партия *роялистов больших, чем сам король*, в Пале-Рояле формировалась партия совершенно противоположная и без участия человека, который должен был бы ее возглавить, – партия герцога Орлеанского. Старый солдат Республики, герцог рано набрался опыта, ведя жизнь, исполненную бурных волнений, был образован, умен и дальновиден, хорошо знал эмигрантов и высмеивал их в своем семейном кругу. Он был так рад возможности вернуться на родину, что думал только о том, чтобы обезопасить себя от нападков роялистов, ненавидевших его с той же силой, с какой они ненавидели его отца. В то время как герцог Орлеанский, не ища себе приверженцев, занимался исключительно воспитанием своих детей и собиранием их рассеявшегося состояния, ему тысячами подготавливали приверженцев роялисты, преследуя его своей ненавистью и привлекая к нему внимание революционеров всех мастей.

Итак, справа от короля стоял граф д'Артуа, окруженный недовольными роялистами, а слева – герцог Орлеанский, окруженный недовольными либералами.

В иных краях, несколько оправившись от падения, начинали с осторожностью и без враждебных выпадов объединяться высшие сановники Империи, не сумевшие или не пожелавшие примкнуть к Бурбонам. То были Коленкур, который не получил пэрства, несмотря на заступничество императора России, и держался в тени, весьма сокрушенный невзгодами Франции и оклеветанный из-за похищения герцога Энгийенского; Камбасерес, живший уединенно и принимавший лишь немногих старых друзей; герцоги Бассано (Маре), Кадорский (Шампань), Гаэтский (Годен), Ровиго (Савари) и графы Мольен и Лавалетт. Они обсуждали меж собой катастрофу, свидетелями которой стали, со злорадством, дозволительным для проигравших, взирали на трудности, одолевавшие их преемников, и с осторожностью навещали королеву Гортензию, которая вернулась в Париж, дабы отстаивать, под покровительством императора Александра, интересы своих детей. Гортензия недавно потеряла мать, императрицу Жозефину, умершую от простуды, которую подхватила, принимая в Мальмезоне императора Александра. Приветливую и добрую Жозефину единодушно оплакивали все, кто ее знал, оплакивал ее

и народ, видевший в этой смерти очередное падение. И так, одна из двух жен узника Эльбы умерла от горя, а другая удалилась в земли своего отца, без короны и с дитятей без удела, уже почти забывшая мужа, с которым разделяла власть над миром.

В Париж также прибыли Сульт, лишившийся командной должности и неосмотрительно выражавший свое недовольство; Массена, забывший о несправедливостях Наполеона перед лицом несчастий Франции, – оскорбленный тем, что его сочли иностранцем, нуждавшимся в натурализации, он жил уединенно и тихо и не ходил в Тюильри за своей долей почестей, обеспеченной всем маршалам; наконец, Даву, который гордился своей обороной Гамбурга, вовсе не тревожился о болтовне роялистов и неприятельских генералов и удалился в имение Савиньи, где трудился над мемуарами.

Близко к этим людям, но не смешиваясь с ними, собирались революционеры всех оттенков, ничуть не враждебные армии, но отделявшие себя от нее, а особенно от ее вождей. Испытав недолгое удовлетворение при виде падения Наполеона, они начинали волноваться. Наиболее скомпрометировавшие себя собирались у Барраса, где оплакивали крах свободы, который приписывали Наполеону. К ним присоединились и некоторые военные, к примеру, Лефевр, который отличился при Империи и был вознагражден ею, но сохранил в душе прежние чувства и под раззолоченным костюмом маршала скрывал республиканца. Республиканцам симпатизировали жители предместий, не такие смелые, какими были некогда, но готовые вновь восстать под влиянием событий и политических дискуссий. Также в стороне, но неподалеку держались более заметные революционеры, которых Наполеон принял поначалу хорошо, но впоследствии отдалил от себя из-за их убеждений или ошибок, и многие сенаторы, не ставшие пэрами по причине того, что голосовали за казнь Людовика XVI.

Между тем во Франции имелись не только партии, мечтавшие о восстановлении старого режима либо сожалевшие о временах Революции или Империи. Многие выдающиеся люди обращали свои взоры в будущее, не имея предубеждений против какой-либо эпохи, и искали свободы при Бурбонах, о возвращении которых, по их мнению, не следовало сожалеть, если сумеешь ужиться с ними и если они научатся уживаться с Францией. Такие люди собирались, к примеру, у госпожи де Сталь, вернувшейся из изгнания и нуждавшейся в Париже не меньше, чем Париж нуждался в ней, ибо она была душой просвещенного общества. Она принимала в своем салоне и побежденных, и победителей и с горячим красноречием старалась всем доказать, что при Бурбонах надобно добиваться свободы в британском духе. Наиболее выдающимися членами ее кружка были Бенжамен Констан и Лафайет. Первый также вернулся из изгнания и готов был пролить свет на спорные вопросы конституции с помощью своего блестящего пера, другой не без удовольствия встретил Бурбонов, при которых прошла его молодость, и был склонен примкнуть к ним, если они будут добры к стране. Эти люди блестящего ума начинали формировать партию, которая впоследствии получила название *конституционной*.

Именно этой партии, как никакой другой, симпатизировала парижская буржуазия. Миротлюбивая и лишенная честолюбия, она не искала должностей, а требовала только возрождения деловой активности; надеялась на Бурбонов; желала получить вместе с миром разумную свободу (которая прежде всего состоит в возможности препятствовать ошибкам власти) и даже была готова предоставить новой власти свою поддержку в виде гвардии, лишь бы слишком явно не задевали ее мнения, чувств и достоинства. Вышедшая из Революции, но не запятнанная себя преступлениями, стремившаяся только к общественному благу, буржуазия в ту минуту выражала подлинные интересы Франции.

В провинции господствовали те же чувства, но более разнообразных оттенков и более свободно выражаемые. Нижняя Нормандия, Бретань и Вандея, провинции, спокойные при Империи, ныне поднялись. С невероятной быстротой собирались шуаны во главе с прежними вождями и вооружались, еще не зная, с кем будут воевать, но уже грозя своим старым про-

тивникам и поддерживая короля. Местные власти призывали их к спокойствию, заверяя, что королю не грозит никакая опасность и в их помощи нет нужды, но тайные вожаки шуанов, из тех эмигрантов, что сожалели о потерянных имениях или притязали на должности, утверждали, что префектам верить нельзя, а государи, напротив, желают, чтобы они оставались наготове. Это движение было направлено главным образом против приобретателей государственного имущества, малочисленных в больших городах, но формировавших весьма значительный класс в сельской местности. Почти все они в 1789 году сочувствовали Революции и, поскольку считали священников и дворян врагами, без особых угрызений совести приобрели за бесценок их имущество, весьма подняв на него цены впоследствии. Теперь они тревожились за себя и свою собственность. Не веря в искренность властей, эти люди еще не взяли за оружие, но вскоре могли начать вооружаться.

Ко всем этим волнениям следует добавить страсти духовенства, намного более неосторожного, чем все те, кто мечтал о восстановлении старого порядка. Возродились старые распри между присягнувшими и не присягнувшими священниками. В некоторых епархиях еще служили старые номинальные епископы, не подавшие в отставку по требованию папы в 1802 году, они отказывались повиноваться действующим епископам, назначенным императором и утвержденным папой. Немало подобных случаев имело место в Турени, Перигоре и Мансе, где Конкордат попирали и объявляли детищем Революции. Признававшие его священники, обычно из числа присягнувших, попадали в немилость.

Духовенство и дворянство всюду твердили, что хотя Бурбоны и не смогли воздать им по справедливости тотчас по возвращении, они сделают это в ближайшее время, потому что этого желают граф д'Артуа и его сыновья, а они заставят короля желать того же.

Положение начинало сильно беспокоить буржуазию, у которой не было интересов в вопросе государственного имущества, но которая дорожила общественным порядком и страшилась попытки восстановления старого режима. За два месяца дело дошло до того, что Нант, один из тех приморских городов, где более всего ценили мир и Бурбонов, сделался почти враждебным Реставрации из-за окруживших его со всех сторон шуанов. Бордо, именовавший себя *городом 12 марта*, потому что в тот день он отворил ворота герцогу Ангулемскому, не переменил настроений, но тоже предъявлял исключительные требования, противоречившие общим интересам².

Город категорически отказывался платить *droits rJunis*³, горько сетовал на потерю Ильде-Франса и безудержно ругал англичан, которых встретил поначалу с пылким энтузиазмом. Тулуза выказывала почти те же чувства, с некоторыми, однако, отличиями. В этом городе, чуждом морским интересам, меньше чувствовалась враждебность к англичанам, но там царил лютая ненависть между роялистами и революционерами. Жители Монпелье и Нима демонстрировали те же чувства, к которым прибавлялось прискорбное осложнение в виде религиозных ссор: католики ненавидели протестантов, считали себя лишившимися за последние двадцать пять лет всех преимуществ и готовы были дойти до крайнего насилия, от которого их с трудом удавалось удерживать. Протестанты, со своей стороны, начали вооружаться, дабы защитить свою жизнь. В Арле и окрестностях приобретатели государственного имущества подвергались не только угрозам: у некоторых из них прежние владельцы силой отбирали имения.

Марсель превосходил всё, что мы рассказали о южных городах. Он, естественно, не хотел платить *droits rJunis*, но еще и требовал, чтобы ему вернули прежнюю торговлю с Востоком, освободили от торгового законодательства, действовавшего во всей Франции, и сделали вольным городом, чтобы он мог торговать со всем миром, не терпя никаких ограничений, уста-

² 12 марта 1814 года герцог Ангулемский под защитой англичан торжественно въехал в Бордо, где именем короля обещал отмену конскрипции и всех налогов, а также полную свободу вероисповедания. — Прим. ред.

³ Так называемый *соединенный сбор*, один из новых налогов, введенных Наполеоном в 1804 году, налог на вина. — Прим. ред.

новленных для защиты национальной промышленности. Всё, что мешало исполнению этого пожелания, следовало упразднить как порождение узурпации, а чтобы король был волен делать то, что устроит его наивернейших подданных, ему следовало получить всю полноту власти и не быть связанным ни хартией, ни какими-либо иными институтами революционного происхождения.

В Валансе и Лионе эти чувства постепенно менялись на почти противоположные. Если в Лионе и имелись пламенные роялисты, помнившие об осаде 1793 года, то там имелись и многочисленные сторонники Империи, помнившие о благодеяниях Наполеона в отношении их города и расцвете промышленности в эпоху его правления; присутствие и бесчинства оккупационных войск только укрепляли их расположение. Во Франш-Конте, Эльзасе, Лотарингии, Шампани и Бургундии – провинциях, сделавшихся военным театром, – погранные патриотические чувства превращали жителей в *бонапартистов*. Увидев, как упорно и стойко сражается Наполеон с европейской коалицией, и разделив с ним тревоги и тяготы войны, эти провинции снова примкнули к нему. Они ненавидели иностранные армии и были холодны к Бурбонам, потому что те вернулись, следуя за врагом.

Таким образом, правительство сталкивалось в восточных провинциях с холодностью и неприветливостью, менее для него обременительными, впрочем, чем беспорядочная пылкость друзей с Запада и Юга.

Ко всем взыгравшим одновременно стихиям добавлялась еще одна – старые солдаты, возвращавшиеся во Францию из плена и иностранных крепостей. Через Перпиньян из Испании вернулись 20 тысяч человек; через Ниццу и Тулон из Генуи и Тосканы – 10 тысяч; через Шамбери из Итальянской армии – 30 с лишним тысяч; через Страсбург, Мец, Мобёж, Валансьен и Лилль – не менее 80 тысяч солдат из Вюрцбурга, Эрфурта, Магдебурга, Гамбурга, Антверпена и Берген-оп-Зома. В Дюнкерке, Кале, Булони, Дьеппе, Гавре, Шербуре и Бресте высадились более 40 тысяч солдат, переживших ужасы английских понтонов⁴. Ожидалось еще возвращение значительного количества пленных из России, Германии, Англии и Испании. У всех этих солдат на шапках красовалась трехцветная кокарда, которую их тщетно убеждали снять. Большинство из них были старыми солдатами, сохранявшими в душе чувства, царившие на их родине, когда они ее покидали; и хотя они не раз возмущались Наполеоном, но видели в нем представителя величия и независимости Франции, а в Бурбонах – его полную противоположность. Среди них укоренилась мысль, что в их отсутствие враг при помощи дворян и священников осуществил гибельную для Франции и армии революцию. Эта мысль вселяла в солдат ярость и глубокое презрение к правительству – ставленнику и сообщнику врага.

Потому понятно, с какими трудностями сталкивалось королевское правительство, пытаясь подчинить возвращавшиеся во Францию войска. Большинство солдат перенесли жестокие невзгоды; среди них было немало таких, кому уже год-полтора не выплачивали жалованья. И они гневались за это не на Империю, а на Реставрацию.

Заискивания перед армейскими военачальниками являлись слабым средством успокоить и завоевать армию. Наши солдаты не считали себя почитаемыми в лице своих маршалов, обнаруживая Бертье, Удино, Нея, Макдональда, Ожеро или Мортье восседавшими при дворе рядом с королем и принцами и осыпанными самыми лестными знаками внимания. Напротив, эти почести солдаты считали наградой за преступный переход на сторону врага. Тем самым, заискивая перед военачальниками, монархия только теряла собственное достоинство и лишала достоинства военачальников, ничуть не завоевывая любви офицеров и солдат.

В Париже собралось множество офицеров, которые прибыли в столицу узнать о своей участи и посетовать на превратности судьбы. Повторные приказы военного министра вер-

⁴ Понтон (*ист.*) – плавающая тюрьма. – *Прим. ред.*

нуться в строй, грозившие потерей прав, если инспекторы на осмотрах обнаружат их отсутствие, оставались невыполненными. Пользуясь общим беспорядком, офицеры задерживались в Париже, собирались в общественных местах, осыпая Бурбонов оскорблениями и насмешками. Рядом с ними можно было видеть многочисленных служащих, вернувшихся из отдаленных провинций, – таможенников, сборщиков налогов, комиссаров полиции, – которые никого не оскорбляли и не насмехались, но оплакивали свою нищету. Поминутно случались потасовки, в которых военные одерживали верх, а правительство, не имевшее возможности применить для восстановления порядка иностранные войска, прибегало к помощи национальных гвардейцев, один вид которых возрождал спокойствие. Им повиновались, потому что видели в них защитников общественного покоя, нередко разделявших чувства молодых людей и даже если подавлявших их порывы, но лучше, чем они, понимавших необходимость покориться обстоятельствам, ожидая благополучия Франции не от прошлого, а от будущего.

Прежде всего, новому правительству следовало привлечь к себе армию, произвести ее неизбежное сокращение, которого требовал переход от войны к миру, и, принуждая ее к болезненным изменениям, провести их так, чтобы она не могла приписать свои лишения ни злой воле, ни пристрастности в отношении эмиграции. Нельзя было задевать революционеров, ибо оставалась опасность подтолкнуть их к сторонникам Империи, с которыми они пока не объединились. Затем нужно было успокоить приобретателей государственного имущества и не дать им превратиться в бонапартистов. Следовало сдерживать сохранившее верность Бурбонам духовенство, помешать ему травить присягнувших священников, составлявших подавляющее большинство, и не вызвать в последних тревоги за Конкордат, их единственную гарантию. Словом, нужно было постараться не обратить в своих неумолимых врагов встревоженные классы, сожалеющие о нелюбимой ими Империи, и не подтолкнуть в стан недовольных буржуазию, ибо разумная, беспристрастная и умеренная буржуазия и была главной и почти единственной опорой правительства.

Из всех дел самым неотложным стала реорганизация армии. Прежде всего решено было выплатить задержанное жалованье, в котором солдаты испытывали величайшую нужду. Барон Луи тотчас согласился выделить 30–40 миллионов наличными. Он открыл необходимые кредиты военному министру, но использование этих кредитов сдерживали два фактора: трудность доставки бухгалтерских документов из отдаленных пунктов и сумятица при реорганизации военного министерства. Поспешив вернуть прежнему владельцу здание министерства, представлявшее собой непроданное имущество, генерал Дюпон вызвал временное расстройство управления и задержки в работе. Однако он сделал всё возможное, чтобы выплатить авансы корпусам, прибывавшим из дальних гарнизонов и оказать некоторое вспомоществование пленным, стекавшимся из всех стран.

После первых мер следовало приступить к реорганизации армии и ее сокращению до соразмерной нашей территории и нашим финансам величины. После возвращения гарнизонов и пленных численность армии должна была дорасти до 400 тысяч солдат всех родов войск, что надолго избавляло от необходимости прибегать к конскрипции и позволяло ее временно отменить, отложив обсуждение закона о воинском призыве на более позднее время. Отпустив часть людей, к примеру, наиболее уставших, в отпуск и удержав других, можно было получить великолепную армию из самых испытанных солдат. Но хватит ли денег на ее содержание и обеспечение участи 40–50 тысяч офицеров?

Вопрос бурно обсуждался на королевском совете, где заседали, как мы знаем, члены бывшего временного правительства и министры. От Дюпона потребовали представить план, а тот, в свою очередь, потребовал, чтобы барон Луи назвал сумму, которую он может выделить на армию. Министр финансов объявил, что не сможет ответить, пока не получит бюджеты всех департаментов и не сумеет восстановить сбор налогов. Герцог Беррийский, вкладывавший в

заботу об армии искреннюю склонность и законный расчет, потребовал от министра финансов объяснений, и тот обещал дать не более 200 миллионов. Для содержания 400 тысяч солдат и офицеров этого было недостаточно. При соблюдении строжайшей экономии удалось бы сохранить под знаменами 200 тысяч человек;

но при неизбежных затратах, проистекавших из перехода от войны к миру, это было почти невозможно: удавалось сохранить от силы 150 тысяч. При этом требовалось воздержаться от трат на роскошь. И тут вставал вопрос об Императорской гвардии. Ее роспуск казался весьма затруднительным и опасным, однако сохранить ее и при этом не доверить ей охрану особы государя было еще опаснее. Дюпон и принцы решили, что и осторожнее, и приличнее сохранить Старую гвардию в качестве элитного корпуса, с высоким жалованием, привилегиями и почетным титулом, не доверяя ей, тем не менее, охрану короля, которую передавали Военному дому. Остатки Молодой и Старой гвардий объединили в два пехотных полка по четыре батальона в каждом: полк французских гренадеров и полк французских пеших егерей. Так же поступили с кавалерией, разделив ее на четыре полка – кирасирский, драгунский, егерский и уланский – с прежними привилегиями. Артиллерийский резерв был распущен и разослан по корпусам, из которых набирался. Общая численность гвардии доходила до 8 тысяч человек пехоты и кавалерии, которые должны были обходиться казне как 15–18 тысяч солдат. На важный вопрос, подобает ли экономящему государству иметь элитные корпуса, правительство дало, как мы увидим, необычный ответ, создав два таких корпуса.

Затем наступил черед линейных войск, которым следовало срочно обеспечить посильное содержание. Министр предложил создать 90 линейных пехотных полков, по три батальона из шести рот в каждом, и 15 полков легкой пехоты, что составляло 105 пехотных полков, способных содержать 300 тысяч боеготовых пехотинцев. Столько пехотинцев и было в настоящее время: они собирались после возвращения из-за границы. Имея возможность содержать не более половины из них, остальных предстояло отправить в неограниченный отпуск, в котором люди рисковали умереть с голода, если не освоят какую-нибудь профессию, а если освоят, то будут потеряны для армии, которая лишится несравненных солдат.

Решение участи офицеров представляло еще большие трудности. Согласно предложенной организации без должностей должны были остаться 30 тысяч офицеров. В их отношении, как и в отношении Императорской гвардии, было принято половинчатое решение: тех, кто не мог быть включен в предложенную систему, оставляли на счету полков с уплатой половины жалования и правом на две трети освобождавшихся мест. Это значило одновременно создать весьма опасный класс недовольных и запретить почти всякое продвижение оставшимся кадровым офицерам.

Так же поступили в отношении кавалерии, обойдясь с ней чуть менее строго. Оставили 56 кавалерийских полков, по четыре эскадрона в каждом, в том числе 14 полков тяжелой, 21 полк средней и 21 полк легкой кавалерии, с действительным составом в 36 тысяч конников. Сохранили 12 артиллерийских полков, в том числе 8 пеших и 4 конных, включавших 15 тысяч артиллеристов и 3 полка инженерных войск, общей численностью 4 тысячи человек. В этих войсках, как и в пехоте, незанятым офицерам предоставили половинное жалование с правом на две трети освобождавшихся мест.

Общая численность всех родов войск должна была подойти примерно до 206 тысяч человек, а вместе с Императорской гвардией – до 214 тысяч, и потребовать расходов, которые министр оценил в 200 миллионов. Однако, как вскоре выяснится, Дюпон, за отсутствием опыта, заблуждался и не мог сохранить под знаменами 150 тысяч человек подобной ценой. А потому не следовало восстанавливать Военный дом короля и создавать конный и пеший дворянские корпуса, которые обойдутся во столько же, во сколько 50 тысяч солдат. Но старым дворянам, преданным и несчастным, нужны были должности; пылкие молодые дворяне желали таким путем попасть в военное сословие; предполагалось, что несколько тысяч доблестных молодых дворян станут

неодолимым щитом против будущих революций; наконец, таким образом всем дозволялось вернуться к званиям и чинам, которыми они некогда обладали. Поэтому решение о воссоздании Военного дома короля обсуждению не подлежало, оставалось только найти средства для его выполнения.

Организацию нового подразделения поручили генералу Бернонвилю, служившему и до и после Революции. Он справился с задачей, в точности скопировав прошлое. Были восстановлены старые *красные роты* [*Maison rouge*] под наименованием *серых мушкетеров, черных мушкетеров, жандармов и легких всадников*, в каждую из которых должно было войти по 300–400 дворян в офицерском звании для несения почетной службы в дни церемоний и под командованием самых знатных придворных вельмож. Затем восстановили роты *телохранителей*, которых теперь стало шесть. Четыре роты предназначались их прежним командирам, герцогам Авре, Грамону, Пуа и Люксембургскому, а еще две роты решили вверить новым маршалам: Бертье, по причине его высокого положения, и Мармону, которого хотели вознаградить за услуги.

Легко догадаться, какое раздражение основной части армии вызвал бы подобный корпус своей надменностью и роскошью. Нескольких случайных встреч офицеров Военного дома и офицеров армии было бы довольно, чтобы привести к злосчастным стычкам и непримиримой ненависти.

Сокращать, дабы соразмерить с территорией и финансами, требовалось не только армию, но и флот, и в этой части предстояли сокращения еще более значительные и ощутимые. Вместо ста линейных кораблей и двухсот фрегатов Наполеона мы могли, при состоянии наших финансов, сохранить на плаву в мирное время от силы два-три корабля и восемь – десять фрегатов; в соответствующей пропорции надлежало сократить снаряжение и персонал флота. Матросы и рабочие могли перейти в торговый флот, но морским офицерам и инженерам предстояло оказаться в трудном и даже мучительном положении. Для них, как и для сухопутных офицеров, установили режим половинного жалования, с правом на две трети освобожденных мест. Кроме того, им предоставили возможность служить на торговых судах без потери прав и чинов в королевском морском флоте. Но эти полумеры не способны были остановить обнищание обеих армий.

Оставалось принять решения по поводу одного из наиболее дорогих военным института – Почетного легиона. Хартия предусматривала его сохранение, и никто не осмелился бы предложить его упразднение. Но нужно было примирить существование ордена Почетного легиона с существованием других старых и новых орденов. Речь шла, в частности, о возрождении креста Святого Людовика, почетного ордена, учрежденного при Людовике XIV для особого вознаграждения за военные заслуги и в ту эпоху еще встречавшегося у старых офицеров, достойно служивших в войнах минувшего столетия. Было решено, что оба ордена будут существовать одновременно, а для омоложения креста Святого Людовика им наградят наиболее отличившихся офицеров императорской армии, которые получат тем самым два креста вместо одного.

Сохраняя Почетный легион, следовало изменить его наградной знак, ибо нельзя было вынуждать Людовика XVIII и принцев носить на груди изображение Наполеона. Договорились, что на одной стороне пластины, служившей знаком отличия, поместят изображение Генриха IV, а на другой – три лилии. Договорились также, что, как только изменения будут произведены, все Бурбоны станут носить этот крест на груди.

Различные меры, о которых мы рассказали, в большинстве своем продиктованные крайней необходимостью, жестоко обидели бы армию, даже если бы не доставили недоброжелателям прямых поводов. Но вкуче со всем тем, что добавили к этим мерам принцы ради угождения своим друзьям, вкуче с раздражением, царившим среди военных, и несправедливостью, к которой оно их побуждало, нововведения должны были получить весьма дурной прием, вызвать повсеместную злую критику, а нередко и опасное сопротивление. Это, к примеру, про-

изошло с Императорской гвардией. Она всё еще оставалась в Фонтенбло и узнала о том, что будет сохранена, но лишена миссии охраны государя, а потому не останется в Париже, столь желанном для любых войск. Прошел даже слух, что расположение гвардии в Фонтенбло находят слишком близким к столице, а потому пехоту отправят в Лотарингию, а кавалерию – во Фландрию, Пикардию и Турень. Это известие вызвало горячее волнение, и часть солдат даже прошла по улицам Фонтенбло с криками «Да здравствует Император!».

Король, со своей стороны, продолжал выказывать армейским военачальникам самые лестные знаки внимания. Он принял маршала Массена, много хвалил его за подвиги и объявил о скорой его натурализации, предложенной палатам. Он принял также Карно в качестве главного инспектора инженерных войск и адмирала Верюэля в качестве морского офицера, оставшегося на службе Франции: король, казалось, забыл, что первый являлся царевубийцей, а второй оборонял до последней крайности Тексель. Между тем, похоже, Бурбонам, сделавшим над собой столько усилий, хотелось облегчить душу за счет одного из великих военных того времени. И такой жертвой, отданной на растерзание роялистам, сделался маршал Даву. Его оборона Гамбурга возмутила иностранных государей, на него сильно гневались и к тому же считали фаворитом Наполеона, что доказывает только неосведомленность роялистов, ибо Даву пребывал в опале с 1812 года. Он стал единственным из маршалов, которого король вовсе не пожелал принять. Военному министру было поручено объявить, что Даву следует объясниться по поводу своего поведения, прежде чем быть допущенным ко двору, поскольку он скомпрометировал имя француза за границей. Маршал весьма холодно встретил это сообщение и продолжил трудиться над своими мемуарами.

С этой минуты до той поры почитаемый, но не любимый военными Даву внезапно сделался их кумиром. У офицеров, покинувших корпуса и не спешивших вернуться, несмотря на повторные приказы военного министра, образовался на Итальянском бульваре и в Пале-Рояле своего рода форум. Они собирались, на свой лад истолковывали действия правительства, высмеивали немощного короля, сравнивая его неповоротливость с резвой повадкой человека, чью дьявольскую активность еще недавно проклинали, смеялись над Военным домом короля, а особенно над старыми эмигрантами, депутации которых ежедневно являлись в Тюильри и нередко выставляли себя в смешном свете.

Мы уже говорили о тысячах служащих всякого рода – таможенниках, сборщиках податей, офицерах полиции, – последовавших за армией на ее пути назад, разделивших с ней все опасности и теперь умиравших от голода в Париже с женами и детьми. Они присоединялись к группам недовольных офицеров и добавляли к их веселью сокрушительное зрелище собственной нищеты. Напрасно барон Луи, пекшийся более о финансах, нежели об облегчении их бедствий, отказал им в помощи, которая не сильно обременила бы бюджет, но положила бы конец незаслуженным страданиям: многие из несчастных сводили счеты с жизнью. Подобные душевраздирающие сцены производили на парижан удручающее впечатление и начинали их сильно тревожить.

Одним из задуманных средств восстановления военной дисциплины было наделение высокими постами маршалов, не получивших придворных должностей, и перевод под их командование, с расширенными полномочиями и высокими окладами, главных военных округов. Во-первых, находили весьма выгодным разбросать маршалов по стране; во-вторых, хорошо знали, что хотя они и не всегда довольны двором, при котором чувствуют себя чужаками, пусть и обласканными, но не желают возвращения Наполеона и при переводе в провинции постараются воздействовать на войска своим авторитетом и вернуть их к исполнению долга. Парижский округ находился слишком близко к верховной власти, чтобы командование в нем имело большое значение, однако и тут требовался твердый человек. Выбор пал на гене-

рала Мезона, который выказал в Лилле редкостную энергию и никогда не слыл другом Наполеона. Журдана оставили прямо там, где он водрузил белое знамя, то есть в Руане; Мортье – во Фландрии, Удино – в Лотарингии, Нея – во Франш-Конте (троих последних – в их родных краях); Келлермана отправили в Эльзас, где он всегда занимался сборными пунктами; Ожеро – в Лион, где он командовал недавно; Массена – в Прованс, где застала его Реставрация; Макдональда – в Турень; Сульта – в Бретань. Скоро мы увидим, насколько успешны были эти блестящие назначения, на которые в ту минуту возлагались счастливые надежды.

Еще меньшего успеха добились с другими классами общества, которые следовало победить, дабы не превращать их в союзников военных. Тотчас по возвращении королевская семья пожелала почтить поминальной службой память Людовика XVI, Марии-Антуанетты и других августейших жертв, чьи головы пали на эшафоте. Ни одно из революционных событий не навело, разумеется, столь мучительных чувств, как смерть несчастного Людовика XVI, заплатившего за благородные намерения самым несправедливым приговором, и желание воздать ему посмертные почести было естественным. Шестнадцатого мая, в день смерти Генриха IV, в церквях Парижа отслужили поминальную службу и зачитали завещание Людовика XVI, в котором он накануне казни в трогательных выражениях прощал своих врагов.

В провинции, последовав примеру в отношении самой церемонии, поступили иначе в отношении способа ее проведения. Духовенство произносило надгробные речи, и по этому случаю прозвучало немало подстрекательских слов. Революция представлялась одним нескончаемым преступлением: преступными были названы и люди, и события, всё подлежало осуждению, даже принципы справедливости, во имя которых Революция совершалась и которые только что получили закрепление в хартии. Роялистская пресса обострила ссору, ответив тем, кто призывал к обещанному хартией забвению, что оно обещано авторам революционных злодеяний, которых не станут подвергать судебному преследованию, но никто не обещал заткнуть рот общественной совести; эти люди должны почитать за счастье свою бесстыдную безнаказанность, но никто не гарантирует им ни уважения, ни молчания честных людей. Легко догадаться, какое впечатление производили такие речи и на непосредственно упомянутых людей, и на тех, кто был с ними связан не общими делами, но общими принципами.

Вступив на путь несвоевременных воспоминаний, и не думали останавливаться. После Людовика XVI и Марии-Антуанетты настал черед принцессы Элизабет, герцога Энгиенского, Моро, Пишегрю и даже Жоржа Кадудалья, признавшего в суде намерение напасть на Первого консула по дороге из Мальмезона. Отыскали священника, бывшего при Жорже в последние минуты, поручили ему совершить поминальную службу и неосторожно объявили, что расходы на церемонию оплатит король. Таким образом, без всяких оснований скомпрометировали Людовика XVIII в глазах умеренных либералов, которым нравилось считать короля более благоразумным, чем его семья и его партия. Церемония произвела особенно сильное впечатление на военных, которые выказали такое негодование, что встревоженная полиция сочла должным предупредить короля.

Вести дела таким способом значило соединять тесными узами революционеров, даже самых умеренных, с военными и всеми сторонниками Империи. Не больше берегли и приобретателей государственного имущества и присягнувших священников.

Священники в провинциях, еще более неосторожные, чем эмигранты, начали вести с кафедр самые опасные речи. Они открыто проповедовали против Конкордата, против продаж церковного имущества и имущества эмигрантов, и доходили до того, что отказывали в исповеди и причастии приобретателям, которые умирали, *не осуществив возврата*, согласно популярному тогда выражению.

Священники не ограничились нападками на приобретателей государственного имущества, распространив их и на умеренное духовенство, учрежденное Конкордатом, и вновь разо-

жгли внутрицерковные раздоры. К несчастью, Сенат в проекте конституции не упомянул о закреплении Конкордата. И теперь речь шла не меньше, чем об упразднении всех перемен, произведенных Революцией в Церкви и освященных временем, законами и голосами просвещенных людей.

После того как Наполеон по своей вине уступил трон Бурбонам, его самое разумное начинание оказалось под угрозой такого же уничтожения, как и самые безрассудные дела. Бурбоны, связанные конституцией Сената, обязались уважать определенные принципы в политике и в управлении, но, будучи вольны в религиозной сфере, желали безоговорочного восстановления прошлого. Следует добавить, что они ненавидели не только Конкордат, но и самого папу. Они не простили ему симпатии к Наполеону и относились к нему как к своего рода присягнувшему священнику, которого нужно, конечно, помиловать, поскольку он легитимен, но при этом отменить по возможности всё, что им сделано. Однако можно ли было помыслить, чтобы папа уничтожил нынешние округа и восстановил прежние, вновь потребовал отставки прелатов и заменил их теми, кого некогда сам сместил, вернулся к прежнему различению присягнувших и не присягнувших священников и привел Церковь к расколу, церковников – к войне, а верующих – в смятение? Нужно было настолько не понимать Францию, как не понимали ее эмигранты, чтобы затеять дело, которое на каждом шагу грозило непреодолимыми трудностями и огромными опасностями.

Однако, вольные попытаться, Бурбоны решились и начали с того, что не признали некоторых прелатов и отказались от всяких отношений с ними. Кардинал Мори был изгнан, потому что граф д'Артуа в день вступления в Париж не пожелал, чтобы тот встречал его в соборе Нотр-Дам. Такое же решение было принято и в отношении многих других, кого утвердил папа. Не ушедшим в отставку епископам сообщили о планах отменить Конкордат, и они поспешили вернуться из Лондона в Париж, не замедлив оповестить об этом всё духовенство. Тотчас на кафедрах, где находились два номинальных епископа, возобновились распри. Раскол быстро разрастался в обеих Шарантах, в Дордони, Вандее, Дё-Севре, Нижней Луаре, Луар-и-Шере, Сарте, Майенне, и никто уже не понимал, какой религиозной власти следует повиноваться.

Хотя французское духовенство в своем опрометчивом поведении было только сообщником правительства, оно уже приводило в замешательство и само правительство, стесняя его сверх всякой меры. Ведь невозможно было отменить Конкордат без папы, и тот, кто из усердия восставал против актов Церкви из желания защитить ее, не мог, между тем, не признавать ее до такой степени, чтобы действовать наперекор ей. И потому, пока от Пия VII не добьются отзыва Конкордата, необходимо было признавать существовавшие религиозные власти, дабы не впасть в настоящую анархию.

Между тем было принято решение начать в Риме переговоры. Король выбрал для этой цели Куртуа де Пресиньи, бывшего епископа Сен-Мало, и облек его достоинством чрезвычайного посла при Святом престоле. Посол должен был дать понять Пию VII, что тот выказал перед узурпатором чрезмерную слабость; об этом готовы забыть из почтения к его сану и невзгодам, но ему следует уничтожить все следы слабости и объявить недействительным всё, что было сделано и чему он содействовал после вступления французов в Италию. Папу просили восстановить 135 прежних кафедр и вернуть на них отказавшихся подать в отставку в 1802 году прелатов, ибо они на протяжении двадцати пяти лет подвергались гонениям за дело истинной веры и имеют такое же право вернуться в свои епархии, как Людовик XVIII в Париж, а папа – в Рим. Тем самым его второй раз за двенадцать лет просили сделать то, что он сам объявлял незаконным.

Но пока готовилось посольство, в Риме внимали голосу разума не более, чем в Париже, и Пий VII, желая изменить Конкордат в некоторых пунктах, затрагивавших римскую Церковь, обратился к Людовику XVIII с посланием, которое прибыло в ту самую минуту, когда отбыло

в Италию посольство. Поздравляя главу дома Бурбонов с возвращением на французский трон, папа выказывал уверенность в религиозных чувствах короля, советовал не принимать сенатской конституции (в Риме еще не знали об обнародовании хартии), умолял отвергнуть свободу культов и вернуть французской Церкви ее земельные владения. Кроме того, он желал добиться возвращения Святому престолу Папской области, Понтекорво и Беневенто (княжество Беневенто принадлежало Талейрану, который и получил это послание). Наконец, папа требовал вернуть принадлежавший теперь Франции Авиньон, который Людовик XVIII, *старший сын Церкви*, как говорил Пий VII, не мог отказаться вернуть Святому престолу!

Революции, устремленные в будущее и не считающиеся с настоящим, зачастую весьма сумасбродны, но не менее сумасбродны и контрреволюции, когда стремятся вернуть невозможное прошлое: Людовик XVIII требует отказа от Конкордата у папы, который требует у него отказа от Авиньона!

Итак, не прошло и трех месяцев после возвращения Бурбонов во Францию, как они, без дурных намерений, просто не сумев сдержать себя и своих друзей, уже обидели почти все классы общества. К счастью, все их действия подлежали рассмотрению весьма высокого суда, благоразумного и несклонного подпадать под придворные влияния, суда двух палат, учрежденных хартией. Король, как мы помним, собрал их 4 июня, огласил хартию и позволил приступить к работе. С той поры палаты не прекращали заседаний и для начала выработали регламент, который должен был предшествовать любой работе. После недолгих дебатов законодатели приняли систему, признанную наиболее удобной для спокойного и серьезного изучения вопросов. Поскольку любая ассамблея должна подразделяться на отдельные собрания, палаты разделились на *бюро* по 20–30 членов, обновлявшихся ежемесячно с помощью жеребьевки. Бюро суммарно рассматривали представляемые им дела и назначали комиссию для их углубленного изучения; комиссия, изучив дело, представляла доклад на общем заседании.

Покончив с регламентом, обе палаты уведомили короля. Палата депутатов, бывший Законодательный корпус, представила пять кандидатов, из которых король, согласно хартии, должен был выбрать председателя. Король выбрал Ленэ, собравшего наибольшее количество голосов благодаря высокому таланту, серьезному нраву и той роли, которую он сыграл в декабре, когда в качестве докладчика Законодательного корпуса возбудил сильнейший гнев Наполеона. Палата депутатов незамедлительно приступила к работе.

Узнав, что с регламентом покончено, и чувствуя, что многие их необдуманные действия найдут в палатах суровых критиков, министры задумалось о том, какой линии поведения следует придерживаться. Монтескью посоветовал соблюдать крайнюю сдержанность, предлагать на рассмотрение немного, по возможности уклоняться от инициатив законодателей, а после одобрения бюджета и системы финансов отпустить их, дабы предоставить отдых им и отдохнуть самим. Он основывался на ложном, но весьма распространенном мнении, что за неимением средств патронажа, как, например, в Англии, невозможно управлять палатами с легкостью, а потому при недостаточной силе следует соблюдать осторожность.

Палатам предстояло проявить себя весьма живо. Едва начала работать палата депутатов, как предложения посыпались одно за другим. Депутат из Эльзаса Дюрбах, человек, лишенный личных амбиций, но воодушевленный весьма пылкими чувствами и много общавшийся с деятелями Революции, выступил против королевского ордонанса, помещавшего деятельность прессы под имперский регламент, как противоречившего духу хартии. Он заявил, что, поскольку хартия обещала свободу прессы, оставление ежедневной прессы под властью цензоров не соответствует ни ее букве, ни духу. И действительно, газеты и брошюры подлежали предварительной проверке, которая, правда, осуществлялась весьма бережно, ибо возглавлял департамент печати знаменитый Ройе-Коллар, профессор философии, призванный стать одним из выдающихся деятелей того времени, решительный сторонник Бурбонов, но гордый

и независимый человек с либеральными взглядами. Он не стал бы, разумеется, прикрывать своим именем тираническую цензуру. Однако она существовала: директор полиции вызывал к себе главных редакторов газет и давал им рекомендации, призывая соблюдать меру, что, впрочем, не мешало вести самые разнузданные речи роялистским листкам. Дюрбах изобличил ордонанс о прессе в непривычно грубых выражениях, в результате чего его предложения были отвергнуты. Но несколько дней спустя депутат Фор по желанию значительной части палаты представил новое предложение о прессе: он просил короля подготовить закон об осуществлении права печати. Это значило достаточно ясно показать, что ордонанс, вновь помещавший прессу под надзор цензуры, сочтен палатами незаконным. Предложение Фора было вотировано единогласно.

Быстрота, с какой депутаты занялись вопросами, занимавшими внимание общества, доказала вскоре, как заблуждалось правительство, полагая, что будет легко отмерить палатам участие в делах, и довольно, к примеру, некоторой сдержанности, чтобы держать их на расстоянии. Стало очевидно, что предложение о новом законе будет возобновляться бесконечно, будет принято палатой пэров и неумолимо дойдет до подножия трона.

Король созвал по этому случаю совет и заявил на заседании: «Первое предложение было отвергнуто, потому что Дюрбах рвал и метал, но второе предложение, изложенное в умеренных тонах, было принято единогласно. И потому мы должны сдаться добровольно, если не хотим, чтобы нас заставили». К весьма разумному мнению короля прислушались. К тому же имелся весьма подходящий способ решить дело: узаконить существующий режим. Режим этот был режимом Империи: он подвергал книги цензуре, а газеты отдавал под надзор полиции, которая в правление Наполеона не терзала прессу за ее незначительностью. Между тем, когда после падения Империи страсти пробудились и газеты, бывшие их ежедневным выражением, обрели былую значимость, полиции приходилось уделять им куда больше внимания. Она безуспешно старалась усмирить роялистскую прессу, снисходительно обращалась с еще робкой либеральной прессой, но в обоих случаях ей приходилось часто вмешиваться, и эта необходимость постоянного вмешательства стала неудобной и почти невыносимой.

Монтескью, составлявший проект закона, взял за основу имперские постановления. Он установил разделение между книгами, с одной стороны, и газетами и брошюрами – с другой. В качестве разделителя он прибег к объему сочинений и принял за предел, их разделявший, объем в 30 печатных листов (480 страниц в 1/8 долю листа). Сочинение такого объема считалось книгой и освобождалось от предварительной проверки по причине наличия более серьезных и менее многочисленных читателей, которым адресовалось. Остальные сочинения, периодические и непериодические, подлежали предварительной проверке цензурой и задерживались, если выявлялось, что их немедленное обнародование несвоевременно. Дабы смягчить строгость предварительной проверки, обозначили, что запрет на публикацию будет временным и по открытии каждой сессии комиссия из трех пэров и трех депутатов будет изучать правильность такой проверки. Такое смягчение ничего не стоило, ибо для газет и брошюр отсрочка в несколько месяцев была равнозначна полному запрету. Типографы подвергались административному надзору и в случае выявления нарушений лишались патента, что их самих превращало в предварительных цензоров.

Закон не столкнулся бы с серьезными трудностями, если бы был объявлен временным и необходимым в силу обстоятельств, одновременно новых и сложных. Но желание учредить цензуру в качестве фундаментального закона становилось дерзким притязанием, о каком мог помыслить только самонадеянный аббат Монтескью. Он возомнил, что преуспеет, и получил разрешение представить проект закона.

Монтескью отнес проект в палату депутатов, которая тотчас отослала его на комиссию. Комиссия изучила закон и не проявила к нему благосклонности. Был в комиссии человек преклонного возраста, живой, остроумный, добросовестный, смелый и пользовавшийся блестя-

щей литературной славой, то был Ренуар⁵. Он имел на комиссию большое влияние и предложил отвергнуть проект закона. Несколько членов комиссии, признав его правоту, но опасаясь нанести правительству слишком тяжкое поражение, предложили сделать то, что министерство должно было сделать само, то есть признать, что свобода прессы в принципе хартией гарантируется, но в силу обстоятельств принимается решение о временной ее приостановке. Ренуар не удовлетворился подобной уступкой, настоял на своем предложении, добился полного принятия закона перевесом в один голос и был назначен докладчиком по этому решению. Большинство, в свою очередь, предложило принять закон с тремя следующими поправками: 1) для освобождения от предварительной проверки достаточно, чтобы сочинение имело объем в 20, а не в 30 листов; 2) цензура будет существовать только до конца 1816 года; 3) мнения членов обеих палат не подлежат цензуре.

В тот день, когда Ренуар представлял свой доклад, во дворце, где заседали палаты, собралась многочисленная публика. Никогда еще к заседаниям Законодательного корпуса не испытывали подобного интереса. Доклад Ренуара выслушали с огромным вниманием, и вечером в Париже не было другой темы для разговоров.

Примирительное по своей природе большинство палаты, не желая опровергать большинство комиссии, но и не решаясь наносить монархии поражение при обсуждении первого же закона, видимым образом склонялось к мнению меньшинства комиссии.

Об этом и объявили все друзья правительства министрам, которые осведомили об этом короля. Два года цензуры были, в конце концов, довольно большим ресурсом и представляли в наш бурный век довольно длительный промежуток времени. Кроме того, это была своего рода сделка, избавлявшая правительство от поражения. Король проявил умеренность и принял предложенные меньшинством комиссии поправки. После пятидневной дискуссии Монтескью взял слово и начал с того, что объявил о согласии короля на поправки, затем заявил, что правительство хочет свободы, но просит некоторой осторожности в способе наделения ею, и закончил тем, что привел достаточно благовидные доводы в пользу введения временной цензуры. Проект с поправками был принят 137 голосами против 80 при 217 голосовавших и тем самым получил большинство с перевесом в 57 голосов.

Результат удовлетворил всех. Свободу прессы удалось спасти: ее приостановление было временным и оправдывалось обстоятельствами. Независимое большинство, не желавшее ни ослаблять власть, ни жертвовать свободой, заявило о себе. Власть сдержали, но не унизили. Партии отвели взгляд от своих кровоточащих ран, перенесли его на всеобщие интересы, и сразу начало зарождаться доверие к справедливому, твердому и независимому арбитру, который станет служить посредником и приводить споры к сделкам, а не к сражениям.

За вотированием по закону о прессе последовали несколько других, в том же духе, что вызвало некоторое успокоение в обществе, к сожалению, недолгое.

Два известных члена адвокатской коллегии, Дар и Фальконе, преданные делу эмиграции, выступили против сохранения так называемых национальных торгов. В своих сочинениях, составленных с крайней резкостью выражений и юридической изворотливостью, они утверждали, что король может объявить бесповоротными только законные продажи, но почти ни одна из продаж не была осуществлена с соблюдением закона. Обе брошюры раскрывали уловку эмиграции: они принуждали новых владельцев отчужденного имущества к индивидуальным сделкам, заставляя их из страха вернуть его за бесценок прежним владельцам. Эмиграция встретила эти сочинения с восторгом, основная масса публики – с тревогой, а заинтересованные лица – с гневом, и в палаты посыпались многочисленные петиции. Палата депутатов, призванная высказаться первой, объявила все посягательства на нерушимость государственных продаж ничтожными и недействительными и единогласно принятой резолюцией выказала

⁵ Франсуа Жюст Мари Ренуар (1761–1836) – французский драматург и филолог, член Академии. – *Прим. ред.*

полную решимость и дальше внушать почтение к соответствующей статье хартии. О многочисленных запросах по этому важному предмету доложили министрам, и директору полиции пришлось арестовать Дара и Фальконе и отдать их под суд по обвинению в нарушении общественного спокойствия и в возбуждении вражды между различными классами граждан.

Почти тотчас после этого дела палате депутатов для рассмотрения были предложены финансовые вопросы, что представило ей новый случай проявить твердость, справедливость и компетентность.

Королевский совет непрестанно требовал, чтобы барон Луи представил бюджет и сообщил о комбинациях, посредством которых он надеялся покрыть государственные расходы. Бесстрашный министр представил бюджет и свою систему, как только его коллеги вручили ему таблицу нужд. Прежде всего он отказался увеличить бюджет двух наиболее дорогостоящих министерств и ограничил расходы военного управления 200 миллионами, а военно-морского управления – 51 миллионом. Только в этом пункте он и был неправ, и лучше уж было столкнуться с сопротивлением парламента, чем принуждать себя к заведомо недостаточной цифре, ибо это значило скомпрометировать и могущество государства, и популярность династии в армии. Речь шла, правда, только о бюджете 1815 года, в то время как бюджет текущего 1814 года оставался открытым для всех непредвиденных нужд. Как бы то ни было, министр финансов выказал непреклонность и сохранил предельные суммы расходов двух больших министерств. Он снизил жалованье дипломатов; сократил расходы министерства внутренних дел до уровня, строго необходимого для содержания дорог; но выделил чрезмерную сумму в 33 миллиона на гражданский лист, объясняя ее расходами на Военный дом и благотворительностью принцев в отношении их старых товарищей по несчастью. Весь бюджет 1815 года определялся цифрой в 618 миллионов, без учета расходов на сбор налогов. В эти 618 миллионов входили 70 миллионов задолженности, то есть невыплаченная часть государственных расходов 1813 и 1814 годов, включавшая солдатское жалованье и продовольствие и обмундирование для войск, которые могло быть оплачено только наличными деньгами.

Наиболее важная часть финансового плана министра относилась к погашению всех долгов государства независимо от их происхождения. Будучи сообщен Талейрану, превосходно разбиравшемуся в финансах, и Монтескью, в них не разбиравшемуся, но имевшему достаточно ума, чтобы оценить благоразумие воззрений барона Луи, план получил большую поддержку на заседании совета. Чуждый финансовым вопросам король, видя общее одобрение и решив полагаться на министров в вещах, в которых они разбирались лучше него, дал свое одобрение. План барона Луи был принят и представлен палате депутатов вместе с изложением мотивов, но не таким убедительным, как сам план, ибо министр умел придумывать идеи лучше, нежели излагать их.

Плана ожидали с нетерпением, и он произвел большое впечатление. Прежде всего в нем увидели подлинный масштаб государственных расходов, и хотя они были значительны для того времени, но не превышали сил Франции; в нем увидели возможность привести расходы бюджета в точное соответствие с ресурсами страны, искреннюю решимость правительства выплатить долги и достаточные для этого возможности; в нем увидели, наконец, энергичного, компетентного министра, понимавшего всю глубину задачи, не напуганного ею и убежденного в возможности с нею справиться.

Комиссия изучила проект во всех аспектах без снисхождения к правительству и с естественным желанием улучшить представленные ей предложения, но после внимательного изучения бюджета 1815 года и плана ликвидации задолженности была вынуждена признать, что задуманный план надежен и представляет наименее дорогостоящее средство выволить казну из затруднений. За исключением одной-двух деталей редакции бюджет министра и его финансовый план были приняты.

Доклад представили палате, обсуждение состоялось в последних числах августа. Интерес, выказанный публикой, не мог быть таким же, как к закону о прессе, ибо предмет возбуждал менее горячие страсти и к тому же был довольно абстрактным. Однако он близко затрагивал банкиров и политиков, и на трибунах палаты депутатов собралось меньше сторонников партий, но больше деловых людей. На всех заседаниях, на которых обсуждались финансы, барона Луи сопровождал Монтескью, дабы оказывать ему поддержку личным влиянием, а при необходимости и словом. Дискуссия продлилась двенадцать дней, была весьма бурной и велась обеими сторонами, хотя неопытность людей, которым приходилось впервые обсуждать столь важные предметы в поистине свободном собрании, давала себя знать.

Проект барона Луи получил в качестве защитников комиссию и многих образованных депутатов, приводивших превосходные доводы, и не безрезультатно, потому что верные доводы в конце концов проникают в умы, независимо от того, в какой форме приводятся. Лучшим защитником плана стал сам министр, который в написанной заранее содержательной речи коснулся всех частей своей системы, дабы просветить самых непросвещенных. Но когда дело дошло до деталей и дискуссия сделалась более оживленной, а потому и более серьезной, министр произвел на палату еще большее впечатление. Хоть и лишенный ораторского таланта и изъяснявшийся, вследствие крайней пылкости, со своеобразными запинками, он обладал энергией выражений, происходившей от силы мысли, и мощно воздействовал на слушателей.

Для начала барон Луи объявил, что ничего не упустит ради сокращения расходов и дошел до возможных пределов в плане экономии. Что до налогов, то, пренебрегая ораторами, притворно сочувствовавшими тяготам налогоплательщиков, он сказал, что первым своим долгом считает удовлетворение нужд государства, которые представляют собой и самые настоятельные нужды народа, ибо без солдат, судей и дорог так же невозможно обойтись, как без хлеба; что прямые и косвенные налоги необходимы в их нынешнем содержании и нужно их терпеть; что Франция является одной из наименее обремененных налогами стран Европы; что нужно уметь платить за свои невзгоды и это самое надежное средство с ними справиться. Перейдя к задолженности и плану кредита, министр заявил, что свои долги нужно выплачивать, и выплачивать полностью, что это обязанность честных людей, а также манера поведения людей умных; что, действуя таким образом, становятся богаче, а не беднее, ибо восстанавливают государственный кредит, через государственный кредит – кредит частный, а с частным кредитом – деловую жизнь; что так думают все в правительстве и сам король.

Эти доводы, приводившиеся неоднократно, убедили палату. Видя перед собой сведущего человека, превосходно понимавшего, что делает, депутаты закрыли дебаты, несмотря на крики оппозиционеров. Смелая откровенность министров, искренне пекущихся о благе государства, никогда не оставляет собрания равнодушными. Когда пришло время вотировать министерские предложения, 140 голосов было подано за их принятие и только 66 против, что означало большинство в 74 голоса – большинство подавляющее, учитывая количество голосовавших.

Успех произвел на публику огромное впечатление. С одной стороны, увидели сильное здравомыслящее большинство, решившееся поддержать правительство, с другой – твердое, разумное и сведущее в финансах правительство, знавшее, чего следует желать, и с силой того желавшее. На следующий день пятипроцентная рента, поднимавшаяся при представлении проекта с 65 до 75 франков, поднялась до 78, и не было химерой предположить, что при продлении мира она поднимется и до 90 пунктов. В этом случае можно было легко осуществить заем и незамедлительно ликвидировать всю задолженность, продав только часть леса, который ранее постановили продать.

К ведению министра финансов относились не только финансовые вопросы. Конец континентальной блокады, наставший одновременно с падением Империи, требовал неотложного вмешательства в положение торговли и промышленности. Наполеон не настолько упорно про-

должал континентальную блокаду, чтобы победить Англию торговыми средствами, но упорствовал в ней достаточно, чтобы заложить основы нашей промышленности. В тот день, когда вместе с вторжением на территорию Франции пали таможенные барьеры, на наших мануфактурах произошло подлинное расстройство, и к военным и гражданским чиновникам и приобретателям государственного имущества добавился новый класс недовольных, склонных сожалеть об Империи.

Как мы знаем, в первые дни Реставрации барон Луи уже принял некоторые временные меры, дабы привести торговое законодательство в соответствие с новым положением вещей. Но эти меры были только переходными, и чтобы обеспечить существование и развитие наших мануфактур, необходимо было принять еще множество других. Как случается всегда, все требовали абсолютных запретов в своих интересах, отказывая в простом покровительстве другим, а поскольку палаты сделались арбитром, к которому обращались все заинтересованные стороны, то наши промышленники засыпали депутатов петициями. Министр постарался удовлетворить большинство требований умеренными мерами, которые могли бы получить одобрение палат.

Прежде всего он восстановил на наших границах таможенную службу и остановил род контрабанды, порожденной исключительными обстоятельствами момента. Предоставленные по Парижскому договору прибавления к территории 1790 года, хотя и небольшой протяженности, содержали, между тем, значительное количество товаров. Эти территории, располагавшиеся в Бельгии, на Рейне и в Савойе, были заполнены продуктами английского производства, которые по праву должны были сделаться французскими, как только мы вступим в окончательное владение новыми территориями. Министр предписал произвести вывоз тех продуктов, что были запрещены, и потребовал уплаты пошлин на те, ввоз которых был разрешен. Он вынес решение о запрете на ввоз хлопковых волокон, тканей и сукна, и для этого ему пришлось только подтвердить действующий закон. Наши хлопковые прядильщики и ткачи, обладавшие сырьем, но не по цене континентальной блокады, а по цене, принятой во всей Европе, уже в том же году смогли продавать на Лейпцигской ярмарке свои ткани, выдерживая конкуренцию с английскими, потому что французские оказались лучшего качества.

Наиболее важной из отраслей промышленности, наряду с хлопковой, была металлургия. Металлу, призванному заменить в использовании камень и дерево, назначалось сделаться одним из наиболее действенных орудий современной цивилизации. Его производство весьма развилось во Франции вследствие континентальной блокады, запрещавшей ввоз иностранного металла. Отмена этого запрета поставила нашу металлургическую промышленность перед лицом грозной конкуренции. В самом деле, в Англии произошла в этой отрасли великая революция вследствие замены древесного угля коксом как топливом и молота прокатным станом как средствомковки. В результате тонна английской стали стоила 350 франков, а тонна французской – 500 франков. Правда, французская сталь обладала бесспорными преимуществами качества, и тем не менее вынести конкуренцию с английской она не могла. Положение в металлургической отрасли внушало тогда наибольшую тревогу. Хозяева кузнечных производств заявляли, что им придется остановить работу, если их не защитят от иностранных производителей, что лишит Францию продукта первой необходимости и поставит ее в зависимость от англичан, а англичане вскоре заставят Францию платить за их сталь дороже, чем за французскую. Металлургов поддерживали собственники лесов, которые могли продавать свой лес лишь постольку, поскольку его покупали хозяева кузнечных заводов. Их противниками были портовые жители и виноделы, надеявшиеся возить на Север вино и привозить с Севера сталь. Не решаясь признать своих истинных мотивов, они пытались доказать, что без Бельгии и рейнских провинций Франция не сможет производить потребное ей количество стали. Металлурги требовали запретить ввоз стали, а коммерсанты и виноделы требовали, напротив, полной свободы торговли. Министр предложил установить пошлину в 150 франков на тонну

иностранной стали, полагая, что такой защиты будет достаточно. Дискуссия в Законодательном корпусе была жаркой, у обеих заинтересованных сторон нашлись горячие сторонники. Представили поправку, доведившую пошлину до 250 франков, которая собрала много голосов. Однако перевес получила пошлина в 150 франков, и в этом пункте замысел правительства вновь получил полную поддержку палат.

Производители сахара также подавали жалобы в правительство и в палаты. Сахароваренное производство было старейшей французской отраслью, одной из наиболее распространенных и продуктивных, особенно в те времена, когда Франция владела Сан-Доминго и завозила оттуда огромное количество сахара-сырца, перерабатывая его для значительной части Европы. Война, оказав благоприятное воздействие на развитие промышленности, в то же время способствовала быстрому росту иностранного сахароварения. Французские производители сахара возмущались, призывали вспомнить о великих временах колониального расцвета, были услышаны и добились запрета на ввоз сахара.

Сельское хозяйство также имело свои претензии и нашло в Законодательном корпусе благосклонных слушателей. Наши земледельцы хотели воспользоваться открытием морей, чтобы экспортировать зерно и шерсть. Вывоз зерна был запрещен во времена последних неурожаяев, а что касается шерсти, Наполеон запретил вывозить не только ее, но и стада, потому что хотел добиться исключительного улучшения французской шерсти с помощью импорта мериносов. Земледельцы требовали свободной торговли зерном, шерстью и овцами, а против них выступали жители побережья, то есть Нормандии, Бретани и Вандеи, пламенно роялистских провинций. Однако доводы земледельцев были весьма убедительны, ибо если естественно запрещать ввоз иностранных товаров в интересах национальной промышленности, куда менее естественно запрещать вывоз национальных продуктов. Казалось, они были правы; и палата депутатов, согласившись с министром финансов, разрешила вывоз зерна, обложив его подвижной пошлиной, зависевшей от цены. Разрешили также экспорт шерсти, ограничившись введением пошлины на вывоз баранов.

Таковы были основные меры, посредством которых попытались осуществить переход от континентальной блокады к свободе мореплавания. Меры эти, задуманные в духе похвальной умеренности, получили всеобщее одобрение.

Король по-прежнему уверенно и спокойно рассматривал все вопросы и предоставлял действовать министрам, когда речь шла не об основах его власти или интересах эмиграции. Так, в отношении государственного имущества творилось подлинное насилие, и если бы Людовик мог, он вернул бы его прежним владельцам. В частности, он весьма неодобрительно отнесся к аресту Дара и Фальконе, авторов нашумевших брошюр. После недолгого следствия обоих адвокатов отпустили на свободу под бурные рукоплескания эмигрантов, которые навещали их и окружили заботами во время недолгого заключения и продолжали окружать заботами после выхода из тюрьмы.

Король вставал также на сторону телохранителей в их стычках с национальными гвардейцами и с армией, поддерживая их любой ценой. Не перечая королю, его министры старались только предупреждать новые столкновения или исправлять их последствия, если не удавалось их избежать. В остальном Людовик предоставлял министрам действовать самостоятельно, чем они с удовольствием и занимались.

Граф д'Артуа, вернувшийся из Сен-Клу в Париж, по своему обыкновению проявлял большую активность, принимал просителей из провинций, давал им обещания, которые не мог выполнить, и всячески потворствовал их страстям, что постепенно делало его предметом всех надежд *ультрароялистов*. Из любопытства, привычки во всё вмешиваться и свойственной слабостью людям недоверчивости он постепенно завел в своем окружении полицию, состоявшую из интриганов, служивших в полиции при предыдущих режимах и искавших при павильоне

Марсан (занимаемым графом во дворце Тюильри) должностей, в которых им было отказано в Генеральном управлении полиции. Граф с удовольствием собирал с помощью своей полиции всевозможные пикантные и тревожные слухи и передавал их королю, дабы показать, что или ему плохо служат, или он не умеет заставить служить себе, и, пока он почитывает классических авторов, устои монархии всячески подрывают и угрожают ей новыми катастрофами. Людовик XVIII, которого осведомлял Беньо, старавшийся доказать безосновательность сведений графа д'Артуа, несколько раз советовал брату отказаться от сплетен и оставить его в покое. Но граф продолжал свою деятельность, только реже докладывал королю.

Один из его сыновей, герцог Ангулемский, человек небольшого ума, но смиренный и скромный, не стремившийся к роли большей, нежели та, что ему отвели, разъезжал в ту минуту по Западу, стараясь внушить народу чуть больше почтения к королевской власти; другой сын, герцог Беррийский, имел поначалу успех в войсках, но уже начинал задевать их резкостью, которую сдерживал поначалу, однако стал сдерживать куда меньше, когда обнаружилось, как трудно привязать армию к Бурбонам. Все три принца разделяли слишком многие склонности своих друзей, чтобы противостоять их влиянию и предотвращать их ошибки. Каждую минуту они прибавляли какую-нибудь новую демонстрацию к тем происшествиям, которыми старались воспользоваться их недоброжелатели.

Впрочем, происшествия эти ничего не значили бы, если бы имелось твердое правительство, которое строго соблюдало бы закон и соответствовало собственным институтам. К несчастью, толпу министров без влияния, лишенных главы и действовавших вразнобой, нельзя было назвать правительством. Министр внутренних дел Монтескью, весьма рассудительный для человека его происхождения и его партии, с легкостью и успехом выступавший в палатах, тем не менее был самым неспособным администратором, ибо не обладал ни твердостью, ни усидчивостью. Отозвав из провинций чрезвычайных уполномоченных, он оставил на должностях большинство имперских префектов, даже не объяснившись с ними. Пусть бы оставили на местах специальных чиновников (уполномоченных по финансам или управляющих мостами и дорогами, ибо заменить их было нечем), но нельзя было оставлять префектов, которые являлись фигурами политическими, обязанными в точности представлять дух и чувства нового правительства. Однако, за неимением пригодных людей, – ибо роялистская партия, длительное время далекая от дел, почти ими не располагала, – Монтескью был вынужден оставить на должности многих префектов Империи. Он мог хотя бы перевести их в другие департаменты, что избавило бы их от неприятной необходимости противоречить себе на глазах подчиненных. Но он не сделал и этого, и только в тех департаментах, где было некоторое количество старых дворян, считавшихся способными нести государственную службу, назначил их префектами или супрефектами и предоставил действовать по вдохновению. В результате префекты-роялисты отдавались своим страстям, а бывшие имперские префекты проявляли крайнюю слабость из страха навлечь на себя гнев роялистов. Одни смело творили зло, другие им потворствовали, слушая, как хартию принародно называют временной уловкой Бурбонов, которые довершат реставрацию, когда окрепнут, восстановят *десятину* и вернут имущество Церкви и эмигрантам. Чтобы предотвращать подобные выступления, следовало лично читать обильную корреспонденцию, без промедления отвечать на нее, отдавать распоряжения, словом, действовать, а действовать Монтескью был неспособен.

Беньо, руководивший полицией, догадывался о подобном положении дел и посылал в департаменты смысленных агентов, которые направляли ему чрезвычайно поучительные донесения, обнаруживавшие все странности положения во Франции в ту эпоху. Передавать их Людовику XVIII было делом весьма щекотливым, ибо это значило избаловать перед ним безрассудства и проступки его самых усердных друзей. Находя среди донесений что-нибудь пикантное или способное позабавить насмешливого короля, Беньо пользовался случаем,

чтобы довести новость до сведения монарха. Людовик XVIII читал донесения, возвращал их Бенью и только посмеивался вместе с ним над теми, кого называл друзьями брата. Дальше дело не заходило, и в этом и состояло всё управление.

Между тем, смутно чувствуя слабость администрации, принцы решили, что должны себя проявить, что их выход на сцену воссоединит и завоюет сердца и разнесет повсюду пламя роялизма. Они заблуждались, не понимая, что только увеличат, а не уменьшат зло. Править значило тогда сдерживать страсти друзей, а отправлять принцев в провинции значило, напротив, возбуждать страсти в самой высокой степени. В качестве единственного результата принцы могли получить только несколько роялистских демонстраций, столь же пустых, сколь пусты обыкновенно приветственные крики толпы, которая кричит, когда ее возбуждают, назавтра забывает, о чем кричала накануне, а послезавтра выкрикивает уже нечто противоположное.

Западные провинции были самыми беспокойными, туда и решили отправить одного из принцев и выбрали герцога Ангулемского, отведя ему на поездку июль и август. В сентябре и октябре граф д'Артуа намеревался посетить Шампань и Бургундию, Лионн, Прованс, Дофине и Франш-Конте, а герцог Беррийский должен был в то же время объехать расположения войск в приграничных провинциях.

Западные провинции, то есть Нижняя Нормандия, Бретань и Вандея, не нравились Людовику XVIII, потому что, казалось, не замечали его и о Ларошжаклене и других роялистских вождах говорили куда больше, нежели о короле. Мятежники из этих провинций объединились и вооружились, призвали своих старых вождей или избрали новых, если старые умерли, и повиновались скорее им, чем правительству. Герцогу Ангулемскому предстояло довести до их сведения, что во Франции имеется король, что король только один и именно его следует признавать и почитать его власть. Чтобы не слишком афишировать цель поездки – края, некогда мятежные, – принц объявил, что намерен посетить побережье Ла-Манша, то есть Брест, Нант и Ла-Рошель. И потому, оставив в стороне края шуанов, он направился напрямик через Нижнюю Нормандию в Ренн и Брест.

Герцога встречали с готовностью и свидетельствами, весьма естественными в провинциях, где его появление навевало воспоминания о страданиях, перенесенных за дело Бурбонов, и где было много стариков, которые не могли вспоминать о них без слез. Он нашел роялистов, и старых, и новых, которые говорили о хартии весьма легкомысленно, считали нерушимость продаж национального имущества только временной уступкой, а на Конкордат смотрели как на еще одну хартию, отмененную вместе с Бонапартом. Народ относился к налогам как к остатку имперской тирании, от которой следует поскорее избавиться, и был решительно настроен не допускать вывоза зерна, пусть и декретированного роялистами; приобретатели государственного имущества беспокоились и готовились объединиться для самозащиты; магистратура недоверчиво и с тревогой ожидала новой инвеституры, ей обещанной; армия была настроена враждебно.

Герцог не был достаточно проницателен, чтобы верно оценить положение вещей, но имел достаточно здравомыслия, чтобы счесть его противным порядку и в особенности обещаниям королю, которые, по его мнению, должны были честно исполняться. Его речи были превосходны, кроме тех, что касались религиозных предметов, на счет которых вся династия имела весьма опасные мнения. Герцог Ангулемский старался всех убедить, что нет никаких *двух королей*, один из которых, старый якобинец, как говорили провинциалы, прехитрый, много обещает и ничего не выполняет, живет в павильоне Флоры и зовется Людовиком XVIII, а другой, граф д'Артуа, настоящий роялист, живет в павильоне Марсан; первого представляют префекты, которым не следует ни повиноваться, ни верить, второго представляют вожди шуанов, и вот их-то и нужно слушать и слушаться. Он объявил, что есть только один король, что надлежит исполнять его приказы, платить налоги, не мешать вывозить зерно, не беспокоить приобретателей государственного имущества – словом, нужно жить в мире, наслаждаться общественным

покоем и давать наслаждаться им другим. Менее благоразумно он говорил со священниками, заблуждения которых разделял, за исключением десятины и имущества Церкви. Герцог придал сколько мог силы законным властям, воодушевил народ уже только тем, что был Бурбоном, доставил удовольствие честным людям своей умеренностью и прямоотой, но никого, к сожалению, не убедил и, проехав через Лаваль, Ренн, Брест и Лорьян, оставил край почти в таком же расстройстве, в каком нашел.

Надлежало посетить и другой важный населенный пункт, Нант. В городе пользовалась влиянием богатая торговая буржуазия, приверженная принципам Революции, ненавидевшая ее злоупотребления, но столь же сильно ненавидевшая и вандейских мятежников, к тому же недовольная надменностью знати с обоих берегов Луары. К императорскому режиму, при котором прекратилась всякая торговля, буржуазия питала неприязнь, которая естественным образом расположила ее к Бурбонам, явившимся с миром и с хартией. Но сумасбродства эмиграции и священников, с одной стороны, и трудности при восстановлении торговли – с другой, весьма ее раздражали. Буржуазия горько сожалела о потере Иль-де-Франса, приписывала англичанам самую коварную расчетливость и гневалась на правительство за его пристрастие к Англии. По всем этим причинам жители города были искренними роялистами, но уже несколько разочарованными в своих надеждах.

Герцога Ангулемского приняли прекрасно. Он вел умеренные речи, которые всем понравились, и вернул жителей к наилучшим расположениям. Покинув Нант, он очутился в Вандее и отправился в Бопрео. Это был Бокаж, почти недоступный край, где дворяне, патриархально жившие вместе с крестьянами, некогда водили их в бой против армий Республики. Здесь сильны были вера и простота и весьма слаб дух интриг и разбоя, присущий шуанству. Крестьяне Бокажа были спокойны и послушны своим господам, которые велели им повиноваться приказаниям короля.

В Бокаже случилось немало трогательных сцен и почти ни одной, достойной сожаления. В Бурбон-Вандее⁶ царил иной дух, здесь было меньше простоты и невинности, здесь меньше занимались земледелием и больше торговлей и даже контрабандой, любили всякое движение, охотно уклонялись от налогов и демонстрировали довольно бурные страсти. Духовенство выказывало полное отсутствие благоразумия. Всем, кто пришел его послушать, герцог Ангулемский повторил то же, что говорил везде, и произвел некоторое впечатление. Затем он отправился в Ла-Рошель, где мог бы сделать благое дело, приняв номинального епископа, против которого восставало местное духовенство, желавшее вернуть прежнего епископа, не подавшего в отставку. К несчастью, герцог, самый набожный из принцев семьи, отказался принять номинального епископа, фактически заявив тем самым, что официальное правительство есть лишь иллюзия, которой не следует обманываться.

Прибыв в Бордо, герцог Ангулемский оказался, можно сказать, в своей столице. Именно там появился первый из Бурбонов, и этим Бурбоном был он. Но там, как и в других местах, мало что осталось от радости и надежд первых дней. Приняв поначалу англичан как освободителей и богатых покупателей, ибо те выпили и вывезли много вина, бордосцы теперь дошли до настоящей ненависти к ним, узнав о потере Иль-де-Франса и о том, что наши колонии уже переполнены британскими товарами. Кроме того, жители были недовольны некоторыми неосторожными остротами знати, и в особенности сохранением *droits rJunis*. Ненависть к англичанам, недовольство знатью, раздражение из-за налогов были теми тремя чувствами, которые герцогу Ангулемского предстояло победить. Он старался как мог, заявил, что англичане повели себя, конечно, не как великодушные победители, но и не сделали ничего, чтобы помешать возрождению французской коммерции, и со временем и при некоторых усилиях она снова расцветет. Герцог с отменной любезностью обошелся с буржуазией, но настоял на абсолютной необходи-

⁶ Ныне Ла Рош-сюр-Ион. – Прим. ред.

мости платить косвенные налоги, ибо государственный бюджет никак не может без них обойтись, и в этом отношении оказал весьма счастливое влияние на коммерсантов города.

Из Бордо герцог направился в Мон-де-Марсан, Байонну, По, Тулузу и Лимож, всюду ведя разумные речи, но невольно возбуждая роялистские страсти более, чем требовалось в интересах Франции и его семьи. В Париж он возвращался через Анжер и Манс.

В Анжере, одном из самых беспокойных городов Запада, буржуазия и знать разделились по всем предметам, занимавшим в то время французов. Обычно буржуазия поставляет в Национальную гвардию пехоту, а знать – конницу, потому что она богаче и может содержать лошадей.

Анжерские конники обзавелись особыми мундирами, которые называли *вандейскими* и с которыми ни за что не хотели расставаться, несмотря на неоднократные приказы из Парижа. В Мансе герцог Ангулемский встретил немало пламенных роялистов и бывших солдат гражданской войны, выражавших весьма неумеренные чувства, но не предавшихся, к счастью, никаким досадным демонстрациям. Он вернулся в Париж в середине августа.

Тотчас по возвращении сына граф д'Артуа отбыл в Шампань и Бургундию. Ему было разрешено обещать многое в части административных льгот и щедро расточать почетные награды: эти меры не зависели ни от бюджета, ни от тирании закона. Для некоторых дворян он вез орден Лилии, для военных и судей – орден Почетного легиона, для избранных роялистов – орден Святого Людовика. Он был не намерен скупиться, коль скоро король разрешил ему быть щедрым.

Вначале граф д'Артуа посетил берега Сены и Оба и города Ножан, Мери, Арси-сюр-Об и Труа, где война оставила ужасные следы и немалая часть населения погрузилась в нищету. На всем пути он сочувствовал страдальцам, даже плакал вместе с ними, называл их своими друзьями и чадами и обещал рассказать королю об их невзгодах, будто король имел средство такие исправить. На самом деле министр финансов принял меры против щедрости графа и внушил ему, что государство ничем не может помочь опустошенным войной провинциям, разве что предоставить некоторые послабления в налогах – и то в случае доказанной невозможности их взимания. Поэтому граф д'Артуа обещал жителям просить об освобождении их от податей и даже о выдаче ссуд, а тем временем разрешил вырубить в государственных лесах 120 000 деревьев, чтобы помочь восстановить жилища. К этой помощи он присоединил воздаяния настолько обильные, насколько позволял ему его гражданский лист, и ордена, вручаемые во множестве. Граф покинул край, оставив жителям в качестве главного утешения волнение от его появления и надежду.

Посетив разоренные войной провинции, граф д'Артуа отправился в Бургундию, в старинный парламентский город Дижон, населенный дворянством мантии, некогда просвещенным, а ныне не допускавшим иных свобод, кроме свободы *ремонтраций*⁷. Соответственно, дворянство было заражено самыми дурными настроениями, которые поощрялись местным префектом. Здесь весьма дурно обходились с епископом, которого обвиняли в потакании присягнувшим, с великим самодовольством объявляли, что дела нужно вести не так, как Людовик XVIII, что хартия – это гнусное сочинение, что еще есть время исправить ошибки и при первой возможности всё переменить. Тогда как в Шампани царило относительное спокойствие, в Бургундии, напротив, население было чрезвычайно возбуждено и многие мечтали о возврате к прошлому, что глубоко тревожило остальных. Естественно, роялисты оказали графу д'Артуа восторженный прием. С присущей ему сговорчивостью он соглашался со всем, что слышал, и только советовал набраться терпения. Что до свидетельства, которое могло стать самым зна-

⁷ Присвоенное местными парламентами еще в XV веке право отказа от регистрации королевских актов, не соответствующих, по их мнению, праву и обычаям данной провинции или законам Франции. – *Прим. ред.*

чительным, граф не преминул сделать его настолько досадным, насколько это было возможно, ибо отказался принять епископа, что произвело на всех сильнейшее впечатление и крайне усилило волнения духовенства.

Найдя положение в Дижоне скверным, граф значительно его ухудшил и отправился в Лион. В этом большом и важнейшем после Парижа городе королевства положение было также не из простых. Наряду со старыми роялистами, которые помнили об осаде 1793 года, ненавидели Революцию и ее порождения и с воодушевлением объединились вокруг своего старого командира Преси, в Лионе жили богатые коммерсанты и фабриканты, в силу возраста не помнившие 1793 года, но весьма признательные Наполеону за помощь городу и благоприветствие торговле. Морская война, разорившая Нант, Бордо и Марсель, напротив, обогатила Лион. Будучи расположен на Соне и Роне, в месте пересечения путей сообщения с Германией, Швейцарией, Италией и Испанией, Лион давно был крупным торговым центром. Возможность легко импортировать из Италии дешевый шелк-сырец и экспортировать на континент дорогие ткани, а также крупные заказы для императорских дворцов обогатили лионцев, но их выгоды таяли на глазах после открытия морей, когда речная навигация потеряла то, что выиграла морская, а англичане вызвали вздорожание шелка-сырца, закупая его для себя. Если добавить к этим неудовольствиям бесчинства австрийской армии, которые несправедливо сваливали на Бурбонов, легко понять, почему лионские коммерсанты, самый богатый и влиятельный в этих краях класс, относились к королевскому делу с прохладцей, если не сказать враждебно. Народ, подражавший этим настроениям, разделился. Небольшая, но пылкая часть населения примыкала к роялистам, остальные следовали за противоположной партией. Мэр, человек мягкий и почтенный, но роялист по происхождению и связям, поссорился с префектом, который тщетно пытался бороться с беспорядками, не находя поддержки ни у Преси, командующего гвардией, ни у маршала Ожеро, командующего округом. Последний, презираемый войсками и основной частью населения за то, что не сумел защитить город от австрийцев, не имел никакого влияния и был неспособен объединить местные власти.

Граф д'Артуа только подбросил в этот костер дров. Его прибытие вызвало сильнейшее волнение. Брат короля, а по мнению роялистов – настоящий король, встретил самый воодушевленный прием. Он умел нравиться, особенно тем, кто разделял его мнения, и за несколько дней, проведенных в Лионе, завоевал все сердца своей партии и разжег страсти, которые ехал погасить. Граф был любезен с префектом и с Ожеро, ибо не любил никого обижать, но никак не позаботился усилить авторитет того или другого. Напротив, с Преси и некоторыми из своих друзей он изливал душу и говорил, что пришлось многое уступить Революции, но нужно набраться терпения и король со временем всё исправит, а пока следует соблюдать осторожность, дабы не доставлять противникам поводов для возражений.

Оставив Лион в состоянии чрезвычайного волнения и еще более разделенным, чем прежде, граф д'Артуа проследовал в Авиньон, где выказал те же расположения, и прибыл, наконец, в Марсель, где его ожидали с крайним нетерпением.

Марсельцы имели множество причин ненавидеть Революцию и Империю, ибо лишились не только процветания, но и хлеба. Двадцать пять лет более трехсот торговых кораблей стояли на якоре у его набережных, загнивая в неподвижности, и только изредка какое-нибудь судно, груженное зерном или сахаром, заходило в порт, если ему чудом удавалось ускользнуть от врага. Несчастный город впал в состояние ужаснейшего упадка и страдал так, что наверняка взбунтовался бы, если бы его не сдерживал железной рукой энергичный префект граф Тибодо. Единственным развлечением, время от времени выпадавшим марсельцам, стало сожжение конфискованных английских товаров, которые предавали огню на одной из главных площадей на глазах умиравшего от голода народа. И потому день падения Наполеона и возвращения Бурбонов сделался для марсельцев днем безумной и неопишуемой радости.

Но радости недолги, ибо чаще всего состоят лишь в мечтах о невозможных блаженствах. Вскоре марсельцы узнали о потере Иль-де-Франса и почувствовали против англичан яростный гнев. Узнали они и о том, что возвращенные Франции колонии полны европейских товаров, колониальных товаров в них нет, все торговые связи оборваны, Испания в беспорядке, Средиземноморье принадлежит англичанам и грекам, их порт, некогда порто-франко, опутан императорскими таможенными, а *droits rJunis*, которому они отчасти приписывали свои невзгоды, сохранен и закреплен. Радость марсельцев остыла, и они стали с горечью доискиваться причин своих разочарований. Еще не зная, что вскоре вокруг стен города вырастут новые предприятия, что Франция приобретет Алжир и это новое владение вместе с всеобщим возрождением Средиземноморья вновь сделает город королем южных морей, Марсель, как и многие другие города, искал свою потерянную корону не в будущем, а в прошлом. Жители полагали, что в прошлом их процветание держалось на открытости порта, на праве принимать без досмотра и уплаты пошлин товары со всего света, которые облагались налогом лишь в двух лье от стен города (как будто перенос линии таможен на два лье мог вернуть потерянные связи!). Подобно бедному эмигранту, потерявшему голову от воспоминаний, Марсель грезил о статусе порто-франко и думал, что при этом условии Реставрация станет величайшим благом.

Прибытие графа д'Артуа вернуло марсельцев к иллюзиям первых дней, и они встретили его с небывалым воодушевлением. Они произносили самые сумасбродные речи, говорили, что хотят настоящего, абсолютного короля, не стесненного путами, навязанными революционерами. Слыша бурные и напыщенные выступления против налогов, граф вел себя так же, как и везде, и отвечал марсельцам, что он на их стороне, что они, разумеется, правы и он обещает им скорое удовлетворение, но они должны немного потерпеть и дать королю время совершить благое дело. Марсельцы были так счастливы видеть его, пожимать ему руки, что всё принимали всерьез и устроили в честь графа великолепные празднества.

Граф написал королю, прося освободить порт от пошлин. Король не встретил поддержки в совете, но отвечал, что надеется вскоре добиться желаемого от министров. Приняв за действительность то, что еще только предстояло, граф прямо в театре, где находился по приглашению, объявил об освобождении порта как о свершившемся факте, и мэр упал на колени и целовал ему руки от имени всех жителей города. Зрители вставали десять раз кряду, испуская восторженные крики признательности.

Проведя в Марселе несколько дней, граф посетил Тулузу, заглянул в Гренобль и наконец прибыл во Франш-Конте.

В Безансоне положение партий требовало самого благоразумного и твердого поведения. Надменная знать, полная предрассудков, назначившая префектом местного дворянина, который возбуждал страсти, вместо того чтобы остужать их, восстановила против себя множество жителей. Положение осложнялось тем, что именно в Безансоне находился архиепископ Лекоз. Будучи приверженцем гражданской конституции духовенства, почтенный прелат давал приют присягнувшим священникам, и ни светским, ни духовным властям не приходилось до сих пор сожалеть о его назначении. Префект и его сторонники вслух говорили, что граф при посещении Безансона не примет архиепископа, на что архиепископ строптиво отвечал, что он и сам не появится у графа д'Артуа. Задетый этой дерзостью, префект объявил, что если архиепископ сдержит слово, он велит его арестовать.

Граф д'Артуа мог совершить здравый и полезный поступок, своим поведением опровергнув речи неосторожного префекта и согласившись хотя бы на официальные отношения с прелатом. К сожалению, никак нельзя было надеяться, что он станет придерживаться такой линии поведения. И в самом деле, прибыв в Безансон под шумные изъявления радости ультрароялистов, граф не пошел в собор из страха встретить там архиепископа и, опасаясь его визита, приказал передать, что не желает его принимать. Произведенный эффект был огромным: духовен-

ство расколосось на два враждебных лагеря, к которым примкнуло и население, разделившись, впрочем, весьма неравным образом, ибо бóльшая часть выступала против знати и духовенства.

Затем, очаровав любезностью всех, кого не обидел своими неосторожными поступками, и раздав тысячи орденов, граф д'Артуа направился в Париж.

В это самое время другой его сын, герцог Беррийский, совершил военную поездку вдоль границ, посетил Мобёж, Живе, Мец, Нанси, Страсбург, Кольмар, Гюнинген и Бельфор и вернулся в Париж через Лангр. Занимаясь исключительно смотрами войск, маневрами, вручением новых знамен и раздачей наград, он и нашел, и оставил войска недовольными. Этот герцог, ставшийся подражать манерам Наполеона, не произвел на армию плохого впечатления в первые дни Реставрации, но невозможность ли победить враждебные настроения военных, ошибки ли правительства, или его собственные промахи привели к тому, что он потерял популярность, раздражался и нередко поддавался гневным вспышкам, которые производили такое же пагубное впечатление, как политические и религиозные промахи его отца.

Таким образом, поездки принцев, хоть их и встречали повсюду с энтузиазмом, не принесли ожидаемой пользы, и положение в сентябре и октябре только ухудшилось. Некоторые меры правительства имели досадные последствия и натолкнулись на сопротивление палат, перед которым пришлось отступить. Так, военный министр Дюпон, обремененный несвоевременными расходами и изыскивая возможность сэкономить, попытался выгадать два миллиона на управлении Домом инвалидов. Наши бесконечные войны настолько умножили количество увечных и неимущих солдат, что пришлось учредить для них дополнительные отделения в Аррасе и Авиньоне, и теперь министр задумал избавиться от инвалидов, переставших быть французскими поданными, предоставив им единовременное пособие, а часть оставшихся французов отослав восвояси, с годовой пенсией в 250 франков. Экономия была несомненной, но мера показалась бесчеловечной, ибо для людей, большей частью лишенных семьи, 250 франков в год было совершенно недостаточно. Начались разговоры о том, что солдат, искалеченных на службе родине, выгоняют из приютов, тогда как тем, кто сражался против Франции, расточают денежную помощь, звания и чины.

Не менее сильное возмущение вызвало и другое, столь же непродуманное распоряжение министра. Требовалось заняться финансами Почетного легиона. Решено было временно оставить без содержания назначения, сделанные после заключения мира, пока ресурсы институции не позволят его предоставить. Но необходимо было справляться с расходами на приюты для дочерей неимущих военных. Приходилось содержать приюты в Сен-Дени и Экуане и несколько дополнительных заведений, в том числе два приюта, Барбо и Лож. Министру пришла в голову неудачная мысль закрыть Экуанский приют и приюты Барбо и Лож, назначив выставленным из них девушкам такую же пенсию в 250 франков. Дело осложнялось тем, что Экуанский замок принадлежал принцам Конде. Нетрудно было предположить, что сироток, чьи отцы пали за Францию, выкидывают на улицу, дабы вернуть замок прежним владельцам. При этом известные военные, уже волновавшиеся, заволновались еще больше, поделились своим волнением с обществом, настроив его в пользу бедных сирот, многие из которых не имели ни отца, ни матери и никак не могли выжить на 250 франков. Дело дошло до маршалов, и Макдональд подал жалобы королю и в палату пэров, членом которой являлся.

Наконец, довершил совокупность злополучных мер неудачный замысел министра в отношении военных школ. Задумав объединить военные школы Сен-Сир, Сен-Жермен и Флеш, дабы придать им, как он говорил, *сплоченности*, министр добился королевского ордонанса о слиянии трех школ в одну школу Сен-Сир. Создавалось, однако, впечатление, что ордонанс возвещал о намерении отстранить от военных школ буржуазию и принимать в них только дворян, открывая тем самым военную карьеру для них одних, как в старые времена.

Трудно описать впечатление, произведенное этими мерами. Хоть и было немало преувеличений в том, что твердили недовольные французы и их газеты, всем становилось очевидно, что попытки справиться с несвоевременными тратами на Военный дом и пенсии офицерам-эмигрантам усугубляют обнищание армии и ведут к восстановлению старого порядка вещей. Жалобы посыпались градом. Именно в этих обстоятельствах разительным образом выявилась полезность права на петиции, мало ощутимая в обычное время. Множество петиций было подано в обе палаты. Палата депутатов пожелала немедленно заслушать по ним доклад и, несмотря на протесты преданного эмиграции меньшинства, признала неправоту правительства, отослав ему все поданные петиции с приглашением, мягким по форме, но твердым по существу, отменить избобленные акты. Пришлось пересмотреть всё сделанное, распорядиться о сохранении филиалов Дома инвалидов до тех пор, пока не умрут все военные, их населявшие; разъяснить, что по домам отправят с пенсиями только тех, кто попросит об этом сам, и так же поступят в отношении сирот Почетного легиона; наконец, что дома Барбо и Лож вновь откроют свои двери для девиц, которые не хотят или не могут удалиться в семьи.

Но возбужденным страстям требуется нечто большее, чем справедливость, им нужна месть, и они ищут ее всеми средствами. Офицеры на половинном жалованье, переполнявшие столицу, дневавшие и ночевавшие в парижских салонах и других общественных местах, вели с каждым днем всё более бурные и вызывающие речи. Их дерзость, раздражая правительство, неизбежно навлекла на них строгие меры, и дело постепенно дошло до своего рода словесной войны, которая могла, к сожалению, дойти и до насильственных действий.

Благодаря переходу на сторону противника Мюрат так и остался королем Неаполя. Его присутствие на троне Нижней Италии волновало не только итальянцев, но и Бурбонов, испанских и французских, добивавшихся его низложения на Венском конгрессе. Обе полиции – и правительственная, и графа д'Артуа – считали, что волнение умов происходит не по вине правительства, а от происков враждебных партий. Правительство не желало искать причину зла в себе и вообразило, что Мюрат с Наполеоном, недавно помирившиеся и владевшие огромными деньгами, используют их для разжигания враждебных настроений военных и чиновников без должностей.

Один взбалмошный англичанин, некий лорд Оксфорд, сделавшийся страстным поклонником Бонапартов, оказался в Париже проездом по дороге в Италию, и его сочли владельцем тайной переписки недовольных военных с Неаполем и островом Эльба. Договорились с английским посольством и подвергли его аресту, но не для заключения, а для изъятия бумаг. При досмотре выявилась их несущественность, что не вызвало бы удивления полиции, сохрани она хоть толику здравомыслия. Самый преступный документ из бумаг происходил от генерала Экзельмана, а преступление, тайну которого он содержал, было, как мы увидим, ничтожно. Генерал Экзельман, немало повоевавший под началом Мюрата и осыпанный с его стороны милостями, слышал, что державы намерены выдвинуть против короля Неаполя армии коалиции, и писал ему, что многие офицеры, в том числе и он сам, готовы предложить ему свой меч, если неаполитанский трон окажется в опасности. В письме не было ни слова ни о французских Бурбонах, ни о каких-либо планах их низвержения.

Хотя письмо не содержало того, что в нем искали, оно возбудило крайнее неудовольствие короля и принцев. Экзельмана решили покарать за все мнимые заговоры, в которые упорно продолжали верить, и судить за сношения с внешними врагами государства. Однако генерал Дюпон, нередко проявлявший слабость, на сей раз возразил. Он заметил, что король Неаполя до сих пор признан всей Европой; Франция не вступала с ним в войну, хоть и требует его низложения; французские подданные могут предлагать ему свой меч, не делаясь виновными в преступных связях; ни один суд не согласится вменить в вину Экзельману его письмо; генерал, состоявший на службе и обязанный считаться с чувствами французского двора в отношении двора неаполитанского, виновен только в нескромном поведении и заслуживает выговора.

Хотя король и разделял недовольство принцев Экзельманом, он всё же принял к сведению доводы министра и согласился на выговор как на самое суровое наказание. Выговор был сделан, и на время этот случай, которому позднее предстояло получить гибельные последствия, был замат благодаря благоразумию генерала Дюпона.

Переполнявшие Париж молодые офицеры тотчас узнали о происшествии с Экзельманом и, несмотря на легкость вмененного наказания, подняли большой шум. А вскоре им доставили новое неудовольствие того же рода. Генерал Вандам, офицер редкостного достоинства, но вспыльчивого нрава, исповедовавший самые энергичные революционные воззрения и словно созданный для того, чтобы навлекать на себя всякого рода клевету, несправедливо прослыл злейшим из людей и вместе с Даву сделался ненавистен врагам Франции. Возвращаясь из русского плена, он подвергся при проезде через Германию недостойным оскорблениям, и подобного инцидента должно было хватить, чтобы привлечь к нему всеобщий интерес. Ничуть не бывало, короля убедили сделать для Вандама исключение, если он явится в Тюильри, и не оказывать ему почестей, расточаемых остальным военачальникам. Едва прибыв в Париж, генерал явился в Тюильри в день приема военных его звания, но телохранители не впустили его во дворец и даже в некотором смысле выставили за дверь. Старый воин, прошедший жизнь под огнем неприятеля, возмущился подобным обращением, наполнил Париж своими жалобами и нашел многочисленных слушателей.

В то время как в Париже шумно волновались незанятые молодые офицеры, в одном из самых отдаленных кварталов столицы скромно и уединенно жил человек: то был Карно, оставшийся после обороны Антверпена инспектором инженерных войск и даже представленный королю, но избегавший и двора, и общества революционеров. Этот честный человек, исполненный гордыни, но сбитый с толку страстями и логикой Революции, был нечувствителен к опале некоторых военных, которых считал безрассудными, но возмущался отношением к старым патриотам и был убежден, что имеет право и даже личную причину для осуждения Людовика XVI. Он вынашивал странную идею вновь поднять вопрос цареубийства в мемуарах, обращенных к самому королю;

способа обнародования мемуаров он еще не придумал, но сочинение их доставляло ему своего рода облегчение. В этих мемуарах, написанных с энергией, горечью и иронией, Карно обсуждал ужасный вопрос цареубийства, воспроизводя аргументы, имевшие в свое время хождение в Конвенте.

Действительно ли неприкосновенна особа короля? Это важный вопрос, говорил Карно, и на него по-разному отвечали во все времена и во всех странах, даже в Библии. В любом случае, история знает немало исключений, ибо нельзя притязать, чтобы такие чудовища, как Нерон или Калигула, оставались неприкосновенны для своих народов. Французская нация, назначая Конвент, предоставила его членам миссию судить Людовика XVI. Хорошо или плохо они его судили? Только история даст ответ, но в любом случае судьи не обязаны давать отчет в своем приговоре никакой власти на земле. Они могли ошибиться, но ошиблись добросовестно и при этом выказали бесстрашную любовь к своей стране. Теперь на них нападают, называют их преступниками, но от имени кого? Франция приветствовала приговор и возвела судей на высочайшие должности; станут ли и Францию называть цареубийцей? Так кто же эти обвинители, которые сегодня вернулись из-за границы и оскорбляют своих соотечественников, двадцать пять лет сражавшихся за Францию и свободу? А, это те самые эмигранты, которые разбежались, вместо того чтобы прикрыть Людовика XVI своими телами, разбежались под тем предлогом, что идут воевать на Рейн, и не только обратили оружие против собственной страны, но и подняли гневную бурю, от которой, в конечном итоге, несчастный король и пал.

По всей видимости, Карно не имел намерений обнародовать это сочинение, но в своем ослеплении революционными предрассудками считал возможным представить его королю и

таким образом обсудить вопрос царевичества с глазу на глаз с братом Людовика XVI. Он жил уединенно, но бывал у некоторых участников злосчастного судилища, таких как Гара и Фуше, и в конце концов передал им свои мемуары, испытывая потребность поделиться. Однако не такого человека, как Фуше, следовало брать в конфиденты, если требовалось хранить молчание. Едва попав к некоторым лицам, мемуары за считанные дни оказались скопированы, напечатаны, распространены и тысячами разошлись во Франции и за границей. Они отвечали всем страстям минуты: гневу революционеров, еще весьма многочисленных, тревоге приобретателей государственного имущества, недовольству военных и чиновников без должностей; они понравились даже либеральной партии, которая не одобряла царевичества, но видела в этих мемуарах справедливое отмщение за недостойное поведение эмиграции. Сами эмигранты также пожелали прочесть сочинение, о котором говорили все. Этого было довольно, чтобы за несколько дней мемуары Карно стали известны Франции и всей Европе.

Как и следовало ожидать, они вызвали в партии эмигрантов приступ ярости. Эмигранты ответили, и их ответ в отношении справедливости и меры был не ниже уровня нападения. Карно указали, что некоторые люди должны быть счастливы уже тем, что не понесли наказания и их по безграничной доброте оставили в живых;

что им надлежит этим удовольствоваться, искать прибежища в глухой безвестности и так заслужить если не снисхождение, невозможное для их преступлений, то хотя бы забвение, им обещанное; что преступники 21 января, пролившие кровь отцов, должны, наконец, скрыться с глаз возмущенного мира и хотя бы уважить покой сыновей.

Инвективами дело не ограничилось, и правительство начало в отношении мемуаров расследование. Вызвали автора, который гордо признал свое авторство и прибавил, что намерений обнародовать свое сочинение не имел. Ему поверили на слово, ибо уважали больше, чем хотели в том признаться. Обратились к книгопродавцам, заподозренным в подпольном изготовлении копий, стали искать доказательства их участия в распространении преступных мемуаров. Все они были подвергнуты суду, что немало способствовало волнению умов. Сторонники Фуше и Барраса сильно взволновались и сделали новые шаги в направлении бонапартистов, которые каждый день делали шаги по направлению к ним. Происшествия множились, будто некая роковая сила хотела столкнуть в назревавшем кризисе всех и вся.

Как мы уже знаем, эмигранты с трудом покорялись статье хартии, которая гарантировала нерушимость государственных продаж. Они не переставали жаловаться и утверждать, что принцы, удовлетворенные самим возвращением на трон, бросили в бедственном положении тех, кто ради их дела жертвовал собой. Частные сделки, на которые они очень рассчитывали и для успеха которых использовали запугивание, проповеди и даже тайну исповеди, не принесли больших результатов, ибо новые владельцы хотели получить плату за переуступку имущества и только немногие из них соглашались расстаться со своим имуществом по разумной цене. Правительство, чувствуя в этом предмете свое бессилие, но всё же желая удовлетворить людей, которые жаловались, что Реставрация им ничего не дала, приняло решение вернуть нераспроданное имущество. В руках государства осталось довольно много такого имущества, и состояло оно в основном из лесов. Хартия его не прикрывала, ибо она защищала только уже проданное имущество. Одно обстоятельство делало предстоящую процедуру особенно приятной королю и принцам. Упомянутое имущество принадлежало в прошлом знатнейшим французским семьям, с которыми Бурбоны были близко знакомы, и после их удовлетворения неудобная шумиха должна была стихнуть. План был предпринят в принципе, осталось отдать распоряжения.

Составленный комиссией под председательством Феррана закон был отнесен в совет и подвергнут обсуждению. В основу закона положили принцип безоговорочного возвращения нераспроданного государственного имущества. Однако применение этого внешне простого принципа означало серьезные трудности. Коммуны, обладавшие значительным количеством

такого имущества, уже отдали его в распоряжение приютов. Амортизационный фонд также обладал таковым имуществом, и для него оно служило залогом государственных рент. Забрать имущество у коммун значило обездолжить неимущих и немощных;

забрать у амортизационного фонда значило поколебать кредит. Несмотря на всё желание изъять эту часть нераспроданного имущества, авторам проекта пришлось отказаться от подобной мысли и только подать бывшим собственникам смутную надежду. Закон был представлен палатам.

К несчастью, текст мотивировки, не менее важный, чем текст самого закона, совету представлен не был. Даже король его не читал. Положились на чувства и таланты Феррана, который был человеком немолодым, образованным, владевшим пером, но, к сожалению, упрямым, бестактным и придерживавшимся крайних роялистских взглядов.

Изложение мотивов Ферран составил в собственном духе. Он разъяснял, что, возвращая непроданное имущество, едва выполняют должное и прискорбно, что сделать большего нельзя; что за неимением средств предоставить немедленное удовлетворение всем владельцам, надо дать им надежду на удовлетворение в будущем; словом, сделать ныне всё возможное, обещав сделать в будущем и невозможное.

Явившись в палату депутатов в сопровождении Монтескью и барона Луи, Ферран зачитал речь своим глухим тягучим голосом, что в первую минуту несколько ослабило впечатление, а пылкость сожалений королевской власти, указывавшая, какое насилие над собой ей приходится совершать, чтобы сохранять верность хартии, и смутные надежды, предоставлявшие одним на многое надеяться, а другим многого опасаться, не могли не произвести досадного впечатления. Но один из пассажей рокового сочинения вызвал в обществе чувство куда более сильное: всей нации будто нанесли оскорбление. Оценивая моральные заслуги тех, кто эмигрировал, и тех, кто остался во Франции, Ферран неуклюже добавил: «Ныне признано, что многие добрые и верные французы, покинувшие родину, имели намерение разлучиться с нею только на время. На чужих берегах им пришлось оплакивать бедствия родины, которую они всегда надеялись увидеть вновь. Совершенно признано, что и подданные, и эмигранты всеми силами призывали счастливую перемену, когда даже не смели на нее надеяться. И после многих невзгод и волнений все встретились в одном месте, но *одни прибыли туда, двигаясь по прямой линии, от которой никогда и не отклонялись, а другим пришлось пройти через несколько этапов революции*».

Слова эти вызвали чрезвычайное волнение, которое постепенно переросло в событие. То есть королевской властью было установлено, что только эмигранты двигались *по прямой линии*, а все остальные французы так или иначе от нее отклонялись! Получалось, что вся нация, не считая 20–30 тысяч человек, сбилась с пути! Все те, кто руководил Францией в течение двадцати лет и умирал, вырывая ее из рук врагов и ведя к вершинам славы, – все они сбились с пути! А люди, которые на протяжении двадцати пяти лет плели интриги и молили Небо, чтобы Франция была, наконец, разгромлена и захвачена, вот они-то и следовали прямой дорогой!

Эти размышления представились поначалу смутно, но на следующий день стали яснее, и впечатление, сильное в первый день, усиливалось беспрестанно. Из ассамблеи оно перешло в общество, из Парижа – в провинции. Распространяемое прессой, которую с трудом сдерживала цензура, настроение вскоре сделалось всеобщим. К тому же неуклюжие слова Феррана поддавались любым интерпретациям, какие только хотели придать им недоброжелатели. *Прямая линия* превратилась в притчу во языцах: все разделились на тех, кто двигался *по прямой* и кто двигался *по кривой*, на эмигрантов, обладавших подлинной добродетелью, и тех, кто не эмигрировал и потому в той или иной мере только заслуживал извинения. И хотя злопыхатели чрезвычайно преувеличили значение слов, в которые Ферран вложил куда меньше преднамеренности, к несчастью, стало ясно, что именно так думают, по сути, и король, и эмигранты.

В ту же минуту вся страна пришла к убеждению, что ее правительство состоит из эмигрантов, испытывает чувства, подобные чувствам эмигрантов, и будет вести себя соответственно. Еще не означая окончательного осуждения, оценка эта положила начало роковому охлаждению. Оставались палаты, на которые можно было рассчитывать, чтобы остановить правительство и если не внушить ему чувств нации, то хотя бы заставить его услышать ее голос. Палаты, как надеялись, не изменили своей миссии.

Бюро приняли закон как акт справедливости, ибо даже либеральная партия хотела сохранить лишь принципы Революции, а не ее злоупотребления. Но, принимая сам закон, депутаты выказали возмущение изложением мотивов, потребовали удалить мотивировку и выразили недоверие министру, который ее написал и произнес.

Комиссия, изучавшая закон, преисполнилась раздражения и действовала под воздействием этого чувства. Она приняла закон с изменениями, незначительными в отношении содержания, но существенными в отношении морального значения. Так, слово *реституция* заменили словом *передача*: оно изгоняло мысль о неотъемлемом праве эмигрантов на возвращаемое им имущество. Государство, еще владевшее имуществом, его лишь *передавало*, дабы положить конец страданиям, облегчение которых было в его власти. Из статьи закона, относившейся к имуществу, переданному в пользование приютам и амортизационному фонду, были удалены слова *в настоящее время*, и таким образом отменили обещание на будущее. Наконец, докладчику предписали составить доклад в духе, противоположном духу мотивировки министра.

Докладчик выступил в палате 17 октября и разругал Феррана за всё, что тот сказал. Он объявил, что основной задачей является восстановить, насколько возможно, общественное доверие, пошатнувшееся от неосторожных слов министра. Определить меру вины и заслуг в нашей великой Революции невозможно, ибо пришлось бы исследовать и поведение тех, кто своим дурно понятым рвением приблизил несчастья монархии и Франции. Король обещал видеть во Франции единую семью, состоящую из его чад, и не должен, равно как и не следует пытаться делать это за него, устанавливать между ними оскорбительные различия. Говорят, будто он в глубине души питает некие сожаления, но на самом деле он может иметь в глубине души только твердую волю сдерживать свои обещания, а самым священным из них было обещание чтить собственность любого происхождения.

Доклад был тверд и суров и содержал прямой урок, адресованный тому, кто сидел гораздо выше, чем министр. За докладом последовало обсуждение проекта. Оно оказалось долгим и бурным и заполнило весь конец октября. Закон был вотирован с поправками комиссии, при почти единогласном осуждении речи Феррана.

Все эти события наполнили волнениями октябрь и ноябрь 1814 года. Умиротворение, наступившее после первых законодательных дискуссий, сменилось бурным раздражением обеих партий – и эмигрантов, и революционеров. К последней партии примыкали уже не только *вотировавшие*, но и бывшие имперские чиновники, военные, умеренные либералы и значительная часть буржуазии, задетая притязаниями знати и духовенства. Раздражение тех и других выплескивалось в газетах, хоть и подцензурных, и парижские листки являли собой необычайно живую картину.

С приближением зимы многие видные деятели вернулись в столицу, и полиция не спускала с них глаз. Это были Маре, Коленкур, Монталиве, Шампаньи, Савари, Лавалетт и другие. Они не составляли заговоров, но жили в своем кругу и не могли огорчаться неуклюжести правительства, которое считали враждебным себе. Их хотели бы заставить покинуть Париж, но не осмеливались. Одно обстоятельство весьма занимало полицию, и хотя в действительности ничего не значило, но являлось предметом всего ее внимания. Некоторые маршалы, которые должны были находиться в своих губернаторствах, один за другим возвращались в

Париж, впрочем, случайно и без политического умысла. Упоминали Сульта, Сюше, Удино, Массена и Нея. Сульт приехал, чтобы ходатайствовать о пенсии, и, как мы увидим, был совершенно неопасен для Бурбонов. Сюше, главнокомандующий двух испанских армий, находился в Париже только потому, что обе его армии были распущены, и теперь считался самым подходящим кандидатом на должность военного министра. Массена приехал за патентом о натурализации и быстро уехал обратно в Прованс. Удино задержался в Париже лишь на несколько дней, а вот Ней так и остался в столице.

Этот маршал, наиболее обласканный двором и принимавший поначалу эти ласки весьма охотно, внезапно сделался недовольным. Он утратил надежду на то, что вмешательство Людовика XVIII и милость императора Александра помогут ему сохранить заграничные дотации, и был вынужден жить на свое жалованье. Будучи обременен детьми, он пребывал в весьма стесненном положении. Война, казавшаяся ему, как и другим, слишком долгой, была всё же источником славы и состояния, отныне недоступного; Ней начинал сожалеть о ней, не признаваясь в том, и предпочитать ее вынужденной праздности. К чувствам его подмешивалась изрядная доля горечи. Ведь показательные ласки, предметом которых он сделался, постепенно обрели свой подлинный характер, и за ними стало проглядывать пренебрежение. Красивая и гордая жена маршала терпела от придворных дам в Тюильри насмешки, которые весьма обижали ее и задевали за живое ее раздражительного мужа.

Одна причина довершила недовольство маршала. Герцог Веллингтон, ставший послом Англии в Париже, нередко давал волю единственной слабости своей простой и сильной души, выказывая при французском дворе немалое тщеславие и охотно принимая восторженные хвалы роялистов. Ней испытывал при виде этого особенно горькое чувство. «Этот человек, – говорил он о Веллингтоне, – был удачлив в Испании по вине Наполеона и наших генералов, но если бы однажды он встретился с нами, когда фортуна не приготовила всего для его триумфа, тогда бы все увидели, на что он годится. И потом, – добавлял Ней, – как можно прославлять столь жестокого врага Франции!» Благородный гнев его был так велик, что он уже не скрывал его и даже снова сблизился с Даву, с которым рассорился после рокового боя в селении Красном.

Между тем маршал Даву, затворившийся в своем имении Савиньи, наконец закончил мемуары об обороне Гамбурга, где с очевидностью доказывал несостоятельность клеветы, которой его преследовали, и попросил у Людовика XVIII дозволения их обнародовать. Вместо того чтобы оказать великому слуге отчизны должные почести, король заявил военному министру, что мемуары столь убедительны, что делают невозможным строгое наказание маршала (а имелась и такая безумная мысль), и нужно дозволить их публикацию, но самого маршала оставить в негласной ссылке. Впрочем, Даву и сам удалился в Савиньи и весьма редко показывался в Париже, где его немедленно окружали агенты.

Такое отношение к славному защитнику Гамбурга было одной из сильнейших причин ожесточения военных. Они с основанием говорили, что такое обхождение отвратительно и оскорбительно для всей армии. Ней твердил об этом повсеместно и заявлял, что маршалы должны объединиться и подать монарху жалобу.

Как же эмигрантам хотелось заткнуть рот этим *болтунам*, которым льстили без пользы! Однако нанести удар достаточно высоко, чтобы заставить их замолчать, смелости пока не хватало. Дерзость эмигрантов и их мстительность не поднялись еще на высоту славной головы Нея! Тем не менее из Парижа выслали генерала Вандама, который вел самые непочтительные речи после того, как его не пустили в Тюильри.

Но такими мерами болезнь не излечишь, и в ноябре волнение продолжало только нарастать. Пятипроцентная рента, которую финансовый план барона Луи довел с 65 до 78, вновь упала до 70 пунктов. Очевидно, доверие нации было глубоко поколеблено, и причину этого внезапного колебания следовало искать не в финансах, а в политике.

Каждая из партий воображала, что противник строит ей козни и плетет интриги и вот-вот начнет осуществлять заговор. Бонапартисты, то есть военные и революционеры, были убеждены, что в Париж привезли пятнадцать сотен самых дерзких шуанов и собираются под предлогом поездки в Компьень вывезти с их помощью короля, а затем сменяют правительство и отменяют хартию. Захватив самых видных военных и революционеров, разделяются, по всей вероятности, с главными, вышлют остальных и провозгласят безоговорочное восстановление старого режима.

Роялисты, которым приписывали подобные планы, были, в свою очередь, убеждены, что молодые генералы, переполнявшие Париж и располагавшие тысячами оставшихся без мест офицеров, рассчитывают на присоединение войск и намереваются осуществить переворот. Они похитят королевскую семью и убьют или выдворят из Франции членов этой семьи; точно так же они обойдутся с дворянством; провозгласят императором Наполеона I или Наполеона II и, начав новое императорское правление, накинутся на Европу и подвергнут ее новому разграблению. Этот обширный заговор, по их мнению, был составлен сообща с Наполеоном и Мюратом. Подозрения в отношении Наполеона были безграничны, как и представления о его неукротимой активности и необычайном влиянии. Никогда он не был так велик в людском воображении, как в то время, когда убежищем ему служил далекий островок, ибо именно тогда ненависть пыталась сделать из него подлого злодея без гения и без храбрости, а страх превращал его в неутомимого гиганта, обладавшего неистощимыми ресурсами и всегда способного и готового перевернуть мир.

Наполеон увез в Портоферрайо, по слухам, несметные сокровища и оттуда руководит нитями всех европейских заговоров, особенно в Вене, куда в ту минуту съехались на конгресс все державы. Он раздувает там пламя раздоров, подчинил своему гению слабого императора Франца и собирается повести австрийские армии на французских и испанских Бурбонов. Еще говорили, что он сбежал и отправился командовать американскими армиями против Англии, или турецкими армиями против Европы, или неаполитанскими армиями против Австрии, – противоречия ничего не значили. Словом, Наполеон мерещился повсюду, и страхи врагов с лихвой вознаграждали его за их усилия умалить его.

Что же было правдой в этих заговорах, которые партии беспрерывно приписывали друг другу? Всё и ничего; всё, если считать заговором пустые разговоры, ничего – если считать заговором обдуманый план, согласованный между вождями и исполнителями, которые хорошо понимают друг друга, обладают соразмерными цели средствами и наметили дату ее осуществления. А таких заговоров не существовало. Разумеется, нельзя отрицать, что роялисты отменили бы хартию, если бы могли, и охотно избавились бы от главных лиц армии и Революции, если бы были столь же всемогущи, как злы были их языки. Но они располагали еще меньшими средствами, чем их противники, были не так смелы и только вели безрассудные речи, которые повергали бонапартистов и революционеров в настоящий ужас.

Разумеется, и революционеры с бонапартистами, если бы могли, завладели королевской семьей и двором и сделали бы что угодно, только бы от них избавиться. Совершенно точно, что они смогли бы осуществить всё, чего хотели, если бы смогли договориться и правильно взяться за дело. Тем самым, если бы умели различать подлинное состояние партий, все убедились бы в полной безопасности, но, по обыкновению, о планах судили по речам и по собственным страхам.

Главная, *правительственная* полиция, руководимая Беньо, разделяла эти смешные тревоги в весьма незначительной мере и старалась успокоить короля в своих донесениях, чему тот охотно поддавался из лени и любви к покою. Но полиция графа д'Артуа, неспособная оставаться бездеятельной, утверждала, напротив, что он живет на готовом извергнуться вулкане, что официальная полиция бездарна и даже неверна и из-за ее ослепления он подвергается опасности в одно прекрасное утро оказаться похищенным. Граф шел к Людовику, говорил,

что ему плохо служат и грядет катастрофа. Король его опровергал, отвечал, что он, как всегда, сделался добычей интриганов, но всё же до некоторой степени поддавался непрерывным жалобам и задумывался.

Между тем племянники, к которым Людовик прислушивался больше, чем к брату, присоединились к графу д'Артуа и в один голос твердили, что дела плохи и нужно их исправлять. Но в том-то и была трудность. Дела, несомненно, были плохи, и исправить их можно было тем средством, какого никогда не видят правительства: перестать потворствовать своим страстям и страстям друзей и тем самым успокоить всю нацию, чуждую партийных интересов и желавшую только всеобщего блага. Но так никто не рассуждал и только гневались на управленцев, то есть на правительство, обыкновенно считающееся автором всего, что случается в свободном – или почти свободном – государстве. В правительстве нет, как говорили, *слитности*, и это было правдой. Но чтобы добиться слитности, следовало составить правительство конституционное, сделать его единственным советником короны, исключить из правительства принцев, назначить в него одного или двух влиятельных людей и довериться им. О подобном средстве никто не думал, и недовольны были не советом и не его составом, а конкретными министрами, и в частности, министром военным. Говорили, что он не умеет держать в узде армию, не имеет на нее никакого влияния, не умеет ни контролировать ее, ни удовлетворить; а потому опасно оставлять армию в его руках. На это король не возражал ничего, поскольку ничего о том не ведал, и, казалось, был склонен верить племянникам, которые разбирались в военных делах лучше.

Мало прислушивался Людовик XVIII к замечаниям и по другому предмету: прежде всего, потому что исходили они от его брата, а во-вторых, потому что был достаточно проницателен, чтобы видеть их безосновательность. Ему говорили, что полиция никуда не годится, что Беньо, хотя и умен, но не силен в этом деле и бонапартисты его обводят вокруг пальца, а он невольно обманывает короля и может погубить монархию.

Таким образом, нападкам двора подверглись военный министр и министр полиции. Король, любивший покой и ненавидевший перемены, понимая, что ему предлагают средства скорее опасные, нежели полезные, побеседовал с Блака о навязчивых страхах, которыми ему докучали, и нашел мнение своего советника схожим со своим, ибо Блака, несмотря на пристрастность, обладал здравым смыслом и вдобавок охотно соглашался с мнением повелителя. Тем не менее он был достаточно откровенен, не стал скрывать от Людовика правду и не оставил в неведении относительно того, что на военного министра и на министра полиции имеется множество нареканий. Племянники короля категорически требовали смены военного министра, а брат – смены министра полиции. Король устал, сдался и согласился на обе отставки.

Оставив за полицейским департаментом название Генерального управления, поручили его д'Андре, бывшему члену Учредительного собрания, образованному и трудолюбивому чиновнику, переписывавшемуся с Бурбонами во время их пребывания в Англии и потому внушавшему доверие партии эмиграции. Однако Людовик XVIII, предоставляя брату удовлетворение удалением Беньо, не намеревался им жертвовать, а пожелал, напротив, его возвысить и доверил должность морского министра, которая как раз освободилась вследствие кончины Малуэ, человека выдающегося и достойного великого сожаления. Так, Беньо был вдвойне вознагражден за свои своевременные и здравые донесения.

Оставалось найти нового военного министра. В армии тогда было два человека, в высшей степени наделенных редкими качествами военного министра – моральным авторитетом в соединении с административными талантами, – маршалы Даву и Сюше. Но Даву был изгнан и неприемлем. На Сюше, склонного к умеренно-либеральному режиму, основателями которого во Франции могли сделаться Бурбоны, и к тому же весьма ими обласканного, уже не раз указывали как на наиболее подходящую кандидатуру. Однако, будучи крайне сдержанным человеком, он не представил достаточно ярких свидетельств своей преданности и не завоевал бла-

госклонности двора. Зато в этом сполна преуспел маршал Сульт, от которого никто этого не ждал. И вот как он добился высокой милости.

Терпя дурное обращение из-за того, что уже в мирное время дал сражение при Тулузе, и терпя его совершенно несправедливо, Сульт поначалу играл в Париже роль дерзкого недовольного, и речи его были чрезвычайно неумеренны. Генерал Дюпон, превосходный человек, ставшийся завоевать Бурбонам сторонников, принял и выслушал Сульта, вернул ему надежду, а с надеждой и некоторое спокойствие. Вскоре министр, продолжая свое дело, решил дать Сульту командование, дабы окончательно привязать его к Бурбонам, и выбрал Бретань, где можно было испытать чиновника. Расчет Дюпона полностью оправдался. Маршал Сульт, попав в окружение самых пламенных роялистов, полностью их удовлетворил и вскоре выказал себя равным им по крайней мере в политических чувствах, ибо без колебаний говорил, что правым делом в последние двадцать пять лет было дело Бурбонов, что все, кто служил иному делу, ошибались, но исправят ошибки безграничной преданностью. Он не ограничился словами, отправился осмотреть печальное поле боя Киберона, обнаружил непогребенные останки, встречающиеся порой на полях сражений, и открыл подписку на памятник французским офицерам, павшим в тот роковой день⁸. Храбрецы, погибшие на мрачных берегах Киберона, были, несомненно, достойны вечного сожаления, однако не время было пробуждать подобные воспоминания. А особое удивление вызывало то, что пробуждал их новый губернатор Бретани.

Удивление в армии было не меньшим, чем удовлетворение в партии роялистов. Сульт показался ценным завоеванием, заслуживавшим окончательной победы. Будучи не удостоен пэрства, как и маршалы Массена и Даву, он прибыл в Париж, дабы ходатайствовать о нем, был нелюбезно встречен старыми товарищами, но весьма любезно – при дворе. Сюше ожидал решения своего дела, когда освободился портфель военного министра, и тотчас почти единодушно было решено вручить портфель ему, несмотря на притязания Мармона, которого не принимали всерьез. Это назначение весьма удивило публику, а двор преисполнился радости и надежды.

Четвертого декабря новые назначения были обнародованы в королевском ордонансе. Так, отставкой военного министра, которому приписывали дурные настроения в армии, и сменой министра полиции, на которого гневались за воображаемые заговоры, потому что он не хотел в них верить, окончился кризис. Как случается в подобных случаях, воспоследовало недолгое спокойствие – до тех пор, пока не дала себя знать тщетность употребленных средств и не осуществилось зловещее предсказание Наполеона: *Бурбоны примирят Францию с Европой, но развяжут войну внутри страны.*

⁸ Сражение при Кибероне – морское сражение Семилетней войны между флотами Великобритании и Франции, состоявшееся в бухте Киберон, на побережье Франции в Бискайском заливе 20 ноября 1759 года. – *Прим. ред.*

LVI

Венский конгресс

Мы уже знаем, до какого состояния довели Францию Бурбоны, сдерживаемые Конституцией и общественным мнением, но уступившие реакции, которая стремилась восстановить старый режим на руинах Революции и Империи. Теперь мы покажем, в каком положении оказалась Европа, разделенная между государями, не связанными ни законами, ни общественным мнением и потому вольными восстановить прошлое, вновь завладеть утраченными территориями или попросту присвоить себе то, что никогда им не принадлежало. Несчастливая Европа, раздираемая своими эмигрантами, столь же мало просвещенными, как и наши, и честолюбцами, пытавшимися урвать друг у друга побольше территорий, пребывала в жестоком волнении и хаосе, являла собой арену битвы жадности с безрассудством. Наполеон, которого называли тогда гением зла, мог с усмешкой думать на своем острове, что его падение вовсе не привело к торжеству бескорыстия и умеренности.

Бельгийские провинции, поначалу испытывавшие облегчение, избавившись от французского ига, весьма удивились, обнаружив себя подпавшими под иго не менее тяжкое и к тому же противное их национальным чувствам. Когда-то они отшатнулись от Франции из-за конскрипции, налогов, закрытия морей и религиозных вопросов. Теперь они избавились от конскрипции, но не избавились от косвенных налогов. Моря открылись, но только для ввоза английских товаров, соперничавших с товарами бельгийскими, и в ту же минуту, как открылись моря, для Бельгии закрылась Франция, чей рынок столь способствовал ее обогащению. Папа вернулся в Рим, но бельгийцы стали частью протестантской нации, которую всегда недолюбливали. Беспреданно нараставшее ради защиты нового Королевства Нидерландов присутствие британской армии докучало бельгийцам, и они упрекали Австрию, содействовавшую отделению Бельгии от Франции, в том, что она предала их и продала Англии.

Не больше удовлетворения испытывали и рейнские провинции. Хотя они, как и бельгийцы, избавились от конскрипции, и Рейн, главный источник благосостояния, открылся вместе с морем, для промышленности, развившейся при Империи, Франция была потеряна, а рынки Пруссии оказались неспособны возместить убытки. Превращение в сограждан жителей Кенигсберга не казалось жителям рейнских провинций естественным, а свобода папы ничуть не больше, чем бельгийцев, утешала их в нынешней принадлежности протестантскому государю. Они тоже тяготились иностранной оккупацией, ибо их территорию занимала прусская армия и солдаты Блюхера еще не привыкли считать своими соотечественниками и жалеть жителей Экс-ла-Шапели или Кельна.

Области, расположенные за Рейном, испытывали беспокойство по другим причинам. Пруссаки были довольны и имели для этого все основания, ибо одержали победу и теперь рассчитывали на расширение территории. Но в качестве награды за патриотизм они ждали обещанной свободы, которую им, однако, предоставлять не спешили. Ганновер, Брауншвейг и Гессен с тревогой ожидали решения своей участи, а тем временем их разоряли проходившие через них армии коалиции. Саксонии, которая покинула французов на поле боя, в награду за ее отступничество грозили потеря государственности и прусское владычество, что повергало ее в подлинное отчаяние. Саксонцев унижали, удерживая их государя пленником в Берлине. Мелкие германские князья были встревожены планами, которые приписывались большим германским державам, а их народы были встревожены совсем не либеральными принципами, которые выказывали их собственные князья.

Швейцария впала в смуту, в которой столкнулись все интересы и вооружилось всё население. Бернцы, вводя в декабре в Швейцарию войска союзников, желали упразднить Акт

посредничества и в самом деле его упразднили. Тотчас пробудились все старые притязания. Берн хотел вернуть себе Во и Аргау, лишив их достоинства кантонов и членов федерации. Ури хотел забрать у кантона Тичино долину Левантина и завладел ею, не дожидаясь решения властей. Швиц и Гларус готовились вернуть себе территории Уцнаха и Гастера, отобрав их у Санкт-Галлена, и ради достижения этой цели подстрекали население этих округов к мятежу. Угрожаемое население, в свою очередь, готовилось обороняться: двадцать тысяч граждан Во, Аргау, Тургау, Санкт-Галлена и Тичино взялись за оружие. Внутренней жизни кантонов грозила не меньшая опасность, чем их территориальному составу. Явно намеревались восстановить подчинение одних классов другим, и все законные интересы, признанные Актом посредничества, оказались в опасности.

За Альпами картина была еще печальнее. При отступлении французы оставили в Милане Итальянскую армию, а в большинстве крепостей Ломбардии – австрийцев. Евгений, несмотря на благородную преданность Наполеону, надеялся сохранить хотя бы часть вице-королевства. Дабы добиться этого, он рассчитывал на влияние короля Баварии, своего тестя, и на личное уважение, которым пользовался в Европе. Благоразумные итальянцы желали для своего принца того же, и ломбардский сенат уже готовился к соответствующему демаршу, когда миланская чернь, уставшая от французов, которых терпела восемнадцать лет, и подстрекаемая знатью и духовенством, подняла мятеж, ворвалась в сенат и забила до смерти министра финансов Прину. Едва не растерзали и военного министра, но толпу удалось обуздать. Вооруженные силы страны возглавил генерал Пино, сформировали регентство, куда призвали просвещенных патриотов, и просили Венский конгресс дать Ломбардии государя. Нетрудно догадаться, что ответом стала австрийская оккупация. Маршал Беллегард во главе 50 тысяч солдат захватил всю Ломбардию до По, распустил регентство и вступил во владение страной от имени императора Австрии.

В Ломбардии режим был жесток, но законен, а вот в Пьемонте он был невыносим с первого же дня. Старый король Сардинии, пожив в изгнании в Риме, после возвращения папы явился в Турин, вступил во владение своими землями, к которым англичане намеревались добавить Геную, и стал править как самый слепой из эмигрантов. Он не только восстановил абсолютную власть, но и преследовал всех, кто служил Франции, карал тех, кто не постился по пятницам и субботам, и выказывал во всем самую жестокую нетерпимость. И это в стране, которую французы на протяжении двадцати лет наполняли духом просвещения и свободы! Многие пьемонтские офицеры бежали к Мюрату, и он с готовностью принимал их, а оставшиеся либо отказывались служить, либо ненавидели новый режим и не склонны были его поддерживать. Если бы по соседству, на реках Тичино и По, не стояли австрийцы, разразилось бы всеобщее восстание.

Генуя, бездумно предавшаяся англичанам и получившая от сговорчивого и либерального лорда Бентинка обещание независимости, пришла в отчаяние, узнав, какая участь ей уготована, ибо не было на свете ига, более ей неприятного, чем иго Пьемонта. Заметим, что все европейские порты поначалу протянули руки англичанам, то есть морю, но теперь с гневом отдергивали их. Генуя вела себя так же, как Марсель, Бордо, Нант и Антверпен.

Папская область, включенная при Империи в вице-королевство Ломбардии, была занята Мюратом, захватившим ее от имени коалиции. В соответствии с господствовавшей идеей возвращения государям того, что принадлежало им ранее, ее следовало вернуть Пию VII. Но Мюрат, которого понтифик по возвращении в Рим признать отказался, оплатил ему, продолжая занимать эту область, не терзая ее, но оставляя в мучительном сомнении относительно будущей участи.

В то время (в сентябре и октябре 1814 года) только один край был доволен в Италии и, быть может, во всей Европе, то была Тоскана. После того как в течение двадцати лет ее передавали от одного государя другому, Тоскану вернули эрцгерцогу Фердинанду, герцогу Вюрц-

бургскому, и она обрела, наконец, мягкого и благоразумного правителя. Он не пытался лишить ее реформ, которыми она была обязана французам, никого не преследовал за службу Наполеону, а, напротив, поставил во главе правительства Фоссомброни и Корсини, самых видных членов французской администрации. И потому тосканцы были единственными из итальянцев, кто ни о чем не жалел и не желал лучшего. Беспокойный город Ливорно, который обладал свободой мореплавания и которому не грозила, как Генуе, участь подпасть под владычество иностранного государя, был так же доволен и умиротворен, как и остальная Тоскана.

Рим получил обратно папу и встретил его на Пьяцца дель Пополо коленопреклоненно. В числе простершихся ниц были несчастный Карл IV, его супруга и князь Мира – печальное прошлое Испанского дома, – выброшенные на улицы Рима, подобно обломкам кораблекрушения. Пий VII, обыкновенно мягкий и умеренный, почти утратил свои достоинства, ступив на землю священных владений, и предался самому неразумному и бесчеловечному гневу. Он упразднил всё лучшее, что сделали французы в области управления, безжалостно преследовал служивших им священников и мирян, отменил продажи церковного имущества и восстановил орден иезуитов, что серьезно обеспокоило все просвещенные классы.

Мы уже рассказали о переговорах папы с правительством Бурбонов относительно отъезда Конкордата. Прося Бурбонов о поддержке в вопросе Папской области и области Марке, Пий VII требовал в то же время Авиньон и Беневенто. Он умолял Людовика XVIII не признавать хартию из-за провозглашенной в ней свободы культов, запретить развод, изменить закон о браке, вернув религиозному акту верховенство над актом гражданским, и восстановить земельные пожалования Церкви. Взамен посол Людовика XVIII представил требования двора: безоговорочную отмену Конкордата и восстановление французского духовенства в том виде, в каком оно существовало до 1802 года.

Весьма нуждаясь друг в друге, обе стороны старались договориться, и Пий VII назначил конгрегацию кардиналов для исследования вопроса об отъезде Конкордата и разрешения прочих трудностей. Требование французского двора значительно увеличить количество кафедр бесконечно устраивало римский двор, и Рим согласился на эту меру, не отозвав Конкордат, а просто увеличив количество епархий.

Оставался вопрос Неаполя. С удивлением Мюрата от того, что он всё еще сидит на неаполитанском троне, могло сравниться разве что удивление, которое испытывала при этом зрелище вся Европа. Когда в начале 1814 года коалиция еще сомневалась в победе, Австрия гарантировала Мюрату неаполитанский трон, дабы отделить его от Наполеона, и Англия подтвердила эту гарантию. Теперь, после окончательной победы, она, конечно, раскаивалась в своих преждевременных обязательствах. Державы, не участвовавшие в переговорах, порицали поспешность Австрии и Англии, которые сами находились в замешательстве от содеянного и, не решаясь упразднить трон своими руками, были не прочь позволить проделать это кому-нибудь другому.

Все итальянские государи отказались признать Мюрата, в том числе и папа, за что Мюрат отомстил, как мы сказали, заняв Папскую область и Марке. Кроме столь грозного в моральном отношении соседа, Мюрат имел и другого, столь же грозного: то был Фердинанд IV, оставшийся королем в Сицилии и взиравший на Мюрата как на авантюриста, которого Европа по рассеянности ненадолго оставила на узурпированном троне. Как и следовало ожидать, законный наследник Бурбонов всеми средствами пытался вернуться в свою вотчину.

Таким образом, Мюрат в Неаполе (как и Мармон в Париже) мог оценить, чего стоит выигрывать от измены своему естественному пути, как бы ни были обоснованы обиды на несправедливость. Сожаления вели к угрызениям совести, и Мюрат раскаивался, что оставил дело Наполеона. Однако он не хотел давать собравшимся в Вене державам обоснованный предлог для низвержения его с трона, выказав неверность своим обязательствам. Послав на остров Эльба слова раскаяния, Мюрат воздержался от каких-либо компрометирующих действий и продол-

жал вести себя с державами как член коалиции, весьма довольный своим вкладом в победу над тираном Европы. Но он принимал искавших у него прибежища пьемонтских и ломбардских офицеров; принимал и французских, предлагавших ему свои услуги, хотя приказ Людовика XVIII призывал последних во Францию. Мюрат, к тому же, хорошо платил и тем и другим, ибо его финансы пребывали в весьма недурном состоянии. Он укреплял свою армию, составлявшую уже 80 тысяч человек, и проявлял о ней большую заботу, ибо в глазах Венского конгресса она являлась самым прочным основанием его прав. У него имелись в Неаполе сторонники среди знати и буржуазии, опасавшиеся возврата всего того, что нес с собой Фердинанд IV, но Мюрат не пользовался поддержкой лаццарони, тосковавших по прежним хозяевам, хотя нередко и рукоплескавших своему миловидному королю. То есть Мюрат еще получал некоторую поддержку, но уже не являлся тем, кем был в течение нескольких месяцев, – героем Италии.

Герой находился совсем в другом месте – на острове Эльба. Мечтавшие поначалу только об избавлении от *droits rJunis* и конскрипции, итальянцы вскоре начали жалеть о Наполеоне и теперь видели в нем идеального борца за их дело, побежденного и привязанного к скале, подобно Прометею. Не считая Тосканы, вся Италия от Альп до Мессинского пролива единодушно желала, чтобы правитель Эльбы покинул свой остров, встал во главе армии и двинулся на Милан.

Одна страна была удовлетворена меньше всех других и при этом справедливо возмущена и разочарована тем, как оплатили за ее усилия. То была Испания. Испанцы пролили потоки крови и выдержали героическую борьбу за возвращение своих королей, а в награду получили только кровавую и недалекую тиранию.

Фердинанд VII, по приказу Наполеона доставленный к границе и переданный испанским войскам, вступил в Херону 24 марта. Из Хероны он направился в Сарагосу, где нашел представителей регентства и Кортесов, которые потребовали, чтобы он сначала присягнул Кадисской конституции, то есть поступили почти так же, как Сенат в отношении Людовика XVIII. Фердинанд отказался объясняться с ними и из Сарагосы отправился в Валенсию, принимая по пути почести от населения, радовавшегося его возвращению и наступлению мира. Валенсия встретила короля ликованием. Войска принесли ему присягу, энтузиазм народа продолжал нарастать, и вскоре Фердинанд счел себя достаточно сильным, чтобы объясниться с мадридскими властями начистоту. Умные люди считали, что он не может принять без изменений конституцию, еще более неполную, чем наша Конституция 1791 года. Но генерал Кастаньос, самый влиятельный человек в Испании того времени, победитель Байлена, и Севальос, самый просвещенный из министров, советовали королю внести в конституцию лишь небольшие изменения и не рвать с людьми, защищавшими его трон ценой собственной крови. Однако на тех, кто притязал ограничить его королевскую власть, Фердинанд VII гневался еще больше, чем на тех, кто пытался похитить ее у него навсегда, заперев в Валансе, и не пожелал идти по пути примирения. Вожди Кортесов были, к несчастью, столь же безрассудны и так же не склонны к уступкам, и согласие, из которого могло воспоследовать учреждение в Испании разумных институтов, стало невозможным. Получив через депутата регентства архиепископа Толедского просьбу объясниться насчет конституции, Фердинанд объявил, что не намерен ее признавать, отослал архиепископа в Мадрид, отменил все декреты Кортесов, принял всю полноту власти и выдвинул на столицу войска.

Народ и армия видели в нем короля, за которого так долго сражались, почти не понимали его теоретических споров с Кортесами и даже удивлялись, что ему отказывают во власти, сохраненной ценой стольких усилий. Своим воодушевленным повиновением они подтолкнули Фердинанда к вступлению в Мадрид в качестве абсолютного монарха, вольного предаться злоупотреблениям, которые грозили его погубить. Не успев водвориться во дворце, он удалил или

заклучил в тюрьму людей, самым энергичным образом борющихся за спасение его короны, отослал архиепископа Толедского – главу регентства, всеми силами поддерживавшего исключительное королевское право, – в его епархию, восстановил инквизицию и усугубил нелепость реставрации самой черной и жестокой неблагодарностью.

Однако в Испании еще оставались люди, на которых либеральные доктрины Кортесов произвели впечатление, и хотя они не вполне таковые разделяли, свершившуюся реакцию они сочли нелепой и были готовы ей противостоять. Таких людей было особенно много в Каталонии. Некоторые члены Кортесов примкнули к ним, и, казалось, начало организовываться сопротивление. Видя подобное поведение сына Карла IV, испанцы подумывали призвать старого короля, которого помнили как мягкого, хоть и непросвещенного монарха.

Осложнения множились на глазах, и Фердинанд VII, приписывавший брожение умов интригам князя Мира, удалившегося в Рим к Карлу IV, потребовал, чтобы Святой престол выслал бывшего министра в Пезаро. Старый король, неизменно верный своему фавориту, жестоко разгневался, услышав эту новость, и выказал намерение покинуть Рим и отправиться в Барселону или в Вену, дабы просить Испанию или Европу вернуть ему трон и отомстить его бесчеловечному сыну. Успокоить его удалось с большим трудом, понадобилось вмешательство папы.

Описанную нами картину дополнит краткое изложение отношений Испании с кабинетом Тюильри. В июле был, наконец, подписан мирный договор, и дело ограничилось взаимным возвратом пленных. Но Франция тайно обещала Испании добиться в Вене возвращения Пармы королеве Этрурии, а неаполитанского трона – Фердинанду IV, уже восемь лет владевшему одной Сицилией. Впрочем, французский двор было нетрудно убедить поддержать подобные требования, ибо он мог выдвинуть их и от собственного имени. Но в то же самое время Испания заключила с Англией тайное соглашение не возобновлять семейного пакта с Бурбонами и внезапно, по непонятной причине, порвала дипломатические отношения с Францией. Дело в том, что вождь герильясов Мина, который доставил нам столько хлопот и которым Фердинанд VII мог бы гордиться, также оказался в числе тех, кого реставрированный монарх преследовал за сопротивление своей абсолютной власти. Знаменитый партизан скрывался в Байонне, и испанский консул с согласия французских властей арестовал его на французской территории. Людовик XVIII и герцог Беррийский возмущались оскорблением, нанесенным французской короне, пожелали, чтобы Мину отпустили, выдали французского агента, сообщника беззакония, и потребовали у испанского двора репарации. Когда Фердинанд VII отказал в репарации и вдобавок потребовал ее сам, дипломатические отношения между странами были разорваны.

Такой была ситуация в Европе, избавившейся от Наполеона, но претерпевшей своего рода повсеместную контрреволюцию, и это были еще не все беды, ей грозившие. Казалось, после пятнадцати лет страданий, причиненных чрезмерными притязаниями Наполеона, крах ненасытного завоевателя должен был послужить уроком и научить всех умерять свои притязания. Ничуть не бывало, – своей безудержной жадностью державы-победительницы, казалось, старались скорее оправдать Наполеона, нежели заставить благословлять его падение. Прискорбное зрелище представляли они в ту минуту в Вене, где назначили встречу на 1 августа.

В соответствии с 32-й статьей Парижского договора, которой назначалось открыть будущий конгресс через два месяца, следовало собраться 1 августа. Но поскольку срок был слишком небольшим, учитывая всё, что предстояло сделать, сбор конгресса договорились перенести на сентябрь.

Король Пруссии, несмотря на присущую ему скромность, отправился принимать чествования подданных. Император Александр, в свою очередь, отправился в Варшаву, чтобы расположить поляков к так называемому *восстановлению* Польши, им задуманному, и оба монарха

вернулись в Вену лишь 25 сентября. Они совершили великолепный въезд в город, достойный их радости и побед. Император Франц, идущий на эти представления ради союзников, а не ради себя, вышел навстречу монархам, обнял их в присутствии своего народа и вернулся с ними в столицу среди толп воодушевленных жителей.

Постепенно прибыли короли Баварии, Вюртемберга, Дании, а за ними и все германские, итальянские и голландские принцы, которым предстояло отстаивать свои интересы на будущих переговорах. К венченосным особам присоединились генералы и дипломаты, горевшие нетерпением поздравить друг друга с военными и политическими победами. Одни прибыли, чтобы только послушать хвалебные речи и насладиться всеобщим триумфом, другие – чтобы засесть в конгрессе от имени своих правительств. Все эти люди, жадные до наград, увеселений, удовольствий и новостей, составляли самое ослепительное и шумное собрание в мире. Недоставало только несчастного короля Саксонии, томившегося в берлинском плену за то, что он последним оставил Францию, и Марии Луизы, томившейся в Шёнбрунне, откуда она с некоторой завистью прислушивалась к доносившемуся шуму празднеств. Озабочена она была не тем, как присоединиться к мужу на Эльбе, а тем, как отстоять герцогство Пармское у Бурбонов. Защищать свои интересы Марии Луизе помогал Нейперг, приставленный к ней недавно видный офицер, сведущий в военных делах и в дипломатии, сообщавший ей все полезные новости и постепенно превращавшийся из советника в защитника и друга.

Посвятив несколько дней развлечениям всякого рода, следовало перейти от праздничного веселья к серьезным делам, но никто не хотел торопить наступление этой минуты. Постоянно твердя о том, как важно сохранить согласие, не объяснялись ни по каким вопросам, за исключением пунктов, улаженных Парижским договором. Так, уже было решено, что Англия получит Бельгию и Голландию и составит из них Королевство Нидерландов; Австрия получит Италию до Тичино и По; Пруссия будет восстановлена и вернется к состоянию 1805 года; Россия избавится от Великого герцогства Варшавского и полюбовно разделит его с соседями. Никто не спешил портить всеобщее счастье раздорами и обговаривать долю каждого в распределении незанятых территорий, откладывая переговоры по спорным и сомнительным пунктам до осеннего собрания.

Сомнительные пункты не касались ни Италии, ни Нидерландов; они касались центра Европы, то есть территорий, заключенных между Россией, Пруссией и Австрией, и их распределение было способно возбудить серьезные затруднения и даже бури.

Александр и Фридрих-Вильгельм питали надежды, о которых едва ли подозревали их союзники, но которые уже полностью сформировались: получить целиком Польшу и Саксонию. Они дали друг другу слово о взаимной поддержке и прибыли в Вену в убеждении, что получат и то и другое.

Возможно ли, что Англия и Австрия не подозревали об этих планах, а если и подозревали, то приняли бы их без возражений? Это, несомненно, справедливый повод для удивления, когда думаешь о бурном сопротивлении, которое разразится вскоре. Но, как мы сказали, объяснений избегали из страха нарушить единство и говорили даже о восстановлении Польши как одном из дел, которое может обсуждаться на конгрессе. Однако в последние пятьдесят лет столько соединенных разными способами земель назывались Польшей, что это слово можно было произносить, не имея в виду определенных границ. Поэтому все оставались в удобной неизвестности, и к тому же насущные заботы отвлекали от забот более абстрактных. Англия, помнившая о континентальной блокаде и думавшая только о том, как помешать ее возобновлению, создавала Королевство Нидерландов, трудилась над восстановлением Королевства Ганновер, хотела обеспечить тому и другому Пруссию в качестве союзницы и готова была ради этого уступить что угодно.

Австрия, куда более проницательная, чем Англия, догадывалась о планах Фридриха-Вильгельма и Александра, ибо не хотела позволить Пруссии водвориться во всех ущельях Саксонии, а волнам славян – докатиться до подножия Карпатских гор. Однако эти тревоги были не единственными заботами Австрии: при всем нынешнем благополучии у нее никогда не было так много серьезных проблем. Хотя на востоке и севере ее тревожили Пруссия и Россия, следовало еще восстановить Германию и определить в ней свое конституционное место. Следовало больше заниматься Италией, сдерживать Мюрата, присматривать за узником Эльбы и Францией и следить, чтобы заботы об одних не повредили другим. Австрия была полна решимости пустить в ход все имевшиеся у нее средства – терпение, хитрость, бдительность, а при необходимости и силу. Из 300 тысяч человек, которыми она располагала, 250 тысяч собрались в Богемии и Венгрии, а 50 тысяч остались в Италии, хотя Австрии и грозили осложнения с Мюратом, итальянцами и, возможно, с узником Эльбы. Трудности Австрия хотела победить единством и согласием *четверки*, то есть Англии, Австрии, Пруссии и России, ибо считала, что привлечение Франции и мелких германских государств приведет только к хаосу, из которого снова вынырнет Люцифер. Он еще не ушел из людской памяти и наверняка не желал уходить, хоть и притворялся, что впал в глубокий сон. И потому первыми словами, произнесенными в Вене, были слова о единстве, которое нужно сохранить даже ценой величайших жертв, и о нем говорили тем больше, чем ближе становился день, когда оно должно было распасться.

С такими настроениями ехали в Вену. Именно в ту минуту, когда Европа неизбежно должна была разделиться, бросалась в глаза ошибка Франции, слишком поспешно подписавшей Парижский договор. Если бы Франция прибыла в Вену, не имея твердо начертанных границ, ее положение, бесспорно, серьезно отличалось бы от того, каким оно было в Париже в мае. Та из сторон, которая получила бы поддержку Франции, приобрела бы столь решающее превосходство, что ради него могли пойти на всё и, очевидно, не пожалели бы уступок. державами, наиболее склонными к уступкам Франции, были, конечно же, Россия и Пруссия, ибо их интересы были сосредоточены на Висле и Эльбе, а не на Рейне и Шельде. И потому, если бы Франция встала на их сторону, то наверняка добилась бы лучших границ, нежели те, что были определены Парижским договором.

Взгляды Людовика XVIII во внешней политике, как и во всем другом, были умеренны и довольно разумны, но ограничены, как и его желания. Довольный возвращением в свое королевство и обретением его в целости, даже с парой крепостей в придачу, он не испытывал желания его увеличивать. Ему не приходила в голову простая мысль, что если другие государства увеличиваются, а Франция остается тем, чем была в 1792 году, она оказывается умаленной, и если ей удастся вновь завоевать превосходство, то только благодаря деяниям Революции, которых он не ценил. Людовик XVIII обладал достоинством, но не обладал амбициями, стремился к миру, дорожить которым его заставляли возраст, немощь, перенесенные невзгоды и мучения Франции, и не хотел легкомысленно рисковать. Мания чрезмерно вмешиваться во внешние дела являлась императорской традицией, которая была ему не по душе, и Людовик желал, чтобы в Вене Франция играла достойную, мирную роль и добивалась лишь одного – избавления от Мюрата на неаполитанском троне. Оставить на одном из европейских тронов мелкого узурпатора, когда великий узурпатор пал, казалось ему позорной непоследовательностью и настоящей опасностью для Франции. Он боялся, что Наполеон в любую минуту может высадиться в Неаполе, выдвинуться с 80 тысячами человек на Альпы и начать оттуда возмущать Францию. Приписывая трудности в управлении королевством интригам и деньгам Наполеона, Людовик отказывался платить ренту в два миллиона, оговоренную трактатом от 11 апреля, и хотел, чтобы Наполеона перевезли на Азорские острова. Он желал также, чтобы Марии Луизе не оставляли герцогства Пармского и вернули его дому Бурбонов – Пармскому. Наконец, как сын саксонской принцессы, Людовик XVIII находил приличным для своей короны спасти короля Саксонии, но ставил эту цель на последнее место. Однако и ради этих целей он не пошел бы

на серьезные осложнения и выразил эти скромные пожелания своему переговорщику, предоставив ему свободу вести себя как ему вздумается и едва взглянув на объемистую памятную записку под названием *Инструкции*, составленную в департаменте внешних сношений. Он подписал ее, почти не читая.

Переговорщиком, естественно, стал Талейран. К нему приписали герцога Дальберга, обладавшего редкой проницательностью и обширными связями в Германии, а потому весьма полезного. Впрочем, умеренность пожеланий Людовика XVIII облегчила задачу его представителей в Вене. Ведь было очевидно, что Мюрат, пребывавший в противоречии с нынешней ситуацией в Европе и опиравшийся только на Австрию, имевшую в его отношении обязательства до совершения им первой ошибки, вскоре избавит ее от обязательств каким-нибудь опрометчивым поступком и падет усилиями двух объединившихся домов Бурбонов. Правда, труднее будет на конгрессе, подчиненном императору Францу, низложить ради Пармского дома Марию Луизу. Но на просторах Италии найдется какая-нибудь компенсация и для нее. Что до Саксонии, Австрия, очевидно, не позволит пруссакам водвориться в Дрездене, а русским – у подножия Богемских гор; все второстепенные государства Германии возмутятся при одном предложении уничтожить Саксонию; Англия не сможет не прислушаться к их жалобам: британский парламент взорвется при мысли, что Россия может занять всю Польшу; и если ко всем возражениям присоединит свой голос Франция, России и Пруссии придется уступить. Тем самым, чтобы исполнить умеренные желания Людовика XVIII, оставалось довериться силе вещей. Вместе с тем оставалась одна сложность: крайнее нежелание Европы показывать нам свои разногласия и позволять вмешиваться в ее дела. При такой ситуации нам следовало выжидать, набраться терпения, не высовываться, дожидаться разделения интересов и обращения к нам за помощью; словом, заставить возжелать нашего вмешательства, но не предлагать его самим. Терпение и гордость были единственной допустимой позицией, с наибольшей вероятностью ведущей к успеху.

И Талейран, безусловно, наилучшим образом подходил для выполнения подобной задачи. Однако темперамент порой уступает страстям, и тот, кто кажется самым флегматичным из людей, становится и самым напористым, едва ощутит укол самолюбия или амбиций. И Талейран на этот раз должен был явить тому примечательный пример.

На протяжении пятнадцати лет он играл главную роль на всех европейских собраниях и неизменно подчинял своей воле представителей тех держав, с которыми теперь ему предстояла встреча как с послами победившей Европы. Во времена Империи Меттерних был в Париже скромным послом побежденного и угнетенного двора; Нессельроде был простым секретарем посольства. Должно быть, Талейрану казалось мучительным не оставаться хотя бы на одном уровне с этими лицами, некогда незначительными и почтительными, и он не мог не чувствовать неловкости, способной, однако, повредить его поведению в Вене. Он только и задавался вопросом, как будет выглядеть в Вене Франция, столь долго побеждавшая и теперь побежденная, и как будет выглядеть он. В конце концов Талейран решил, что, после того как он был представителем всемогущего гения, теперь он станет представителем права (которое он обозначил удачным выражением *наследственное право*, имевшим огромный успех), и такая роль будет не ниже той, какую он играл прежде.

Итак, Талейран ехал в Вену, вооружившись талисманом наследственного права, который годился для многого, но не для всего. Чтобы добиться низложения Мюрата и внушить почтение к королю Саксонии, выражение было самым подходящим, но ведь если бы его стали учитывать постоянно, пришлось бы вести переговоры не с Бернадоттом, которому державы старались угодить, а со скитавшимся по Европе Густавом IV; не допускать представителя Фердинанда VII, ставшего королем вопреки воле отца, Карла IV, вовсе не отказавшегося от своих прав и готового их предъявить; позвать представителей Генуи, Венеции и Мальты, бывших курфюрстов Кельна, Трира и Майнца и многих других, чьи земли теперь намеревались поде-

лить. Пришлось бы наполнить конгресс призраками и удалить реальных и всемогущих властителей. Несмотря на всё истинное и почтенное, что содержало выражение *наследственное право*, оно не могло в ту минуту послужить защите наиболее серьезных интересов Франции; оно вызывало улыбку практических людей, которые собирались на конгресс в Вене; неприятной стороной этого понятия было то, что оно делало нас приверженцами Австрии и Англии, менее всего склонных помогать нам оправиться от поражения: оно привязывало нас к их политике и лишало того, что составляло нашу главную силу, – свободы выбора.

Как бы то ни было, отбыв 15 сентября из Парижа, Талейран прибыл в Вену 23-го. Государы должны были прибыть через день, но их канцелярии и главные штабы опередили их на несколько дней, и в ожидании прибытия монархов языки развязались. Многие начали проясняться. Русские и пруссаки, осведомленные о решениях своих повелителей, решений этих не скрывали. Русские во всеулышание и с необычайным бахвальством заявляли, что им нужна вся Польша; пруссаки, выказывая не больше осмотрительности и скромности, говорили, что им нужна Саксония. И те и другие, казалось, не допускали и мысли, что им могут отказать.

Желания, высказанные столь уверенно, с первого дня конгресса возбудили всеобщее волнение. Властители небольших княжеств были возмущены готовившимся уничтожением одного из их государств по воле амбициозного соседа и в наказание за общую для всех вину – союз с императорской Францией. Представители всех государств были напуганы тем, что Россия, в начале века находившаяся на Висле, выдвигается, благодаря сообщничеству Пруссии, к Варте и Одру. Говорили, что не стоило труда сбрасывать иго Наполеона, чтобы столь быстро и полно сменить его на другое. Не меньше задевала всех претензия России, Пруссии, Австрии и Англии сосредоточить руководство делами в своих четырех миссиях, исключив остальных. Поэтому прибытия французской миссии ожидали с крайним нетерпением и, хотя Францию не любили, готовы были примкнуть к ней, если она, не притязая ни на что для себя, придет на помощь угнетенным, исключенным и обиженным.

Конец сентября ушел на празднества. Наконец настало время официально открыть конгресс в той или иной форме, всеобщим или частичным собранием. Нессельроде, Гарденберг, Меттерних и Каспри (или, как их называли, *четверка*), прибывшие первыми и стремившиеся решить все дела между собой, тайно пришли к согласию относительно наилучшего, с их точки зрения, способа действий. Всеобщее собрание было невозможно, и наиболее естественным стало бы, если бы подписанты Парижского договора, условившиеся встретиться в Вене, взяли на себя роль, которую играли на предыдущих конгрессах посреднические державы, и провозгласили себя посредниками, а при необходимости и арбитрами между заинтересованными сторонами. Восемь подписантов Парижского договора могли открыть конгресс, подтвердить полномочия, сформировать по каждому вопросу комитеты, состоявшие из главных заинтересованных участников, сделаться арбитрами в сложных делах, добиться соглашений по всем вопросам и затем, подготовив отдельные договоры по всем пунктам, соединить их в один всеобщий договор, который подпишут все государства без исключения. Правда, двое из восьми подписантов, Португалия и Швеция, облакались тем самым не соответствующей их действительной силе ролью великих держав. Но это было не столь важно, коль скоро находился законный предлог допустить вмешательство только восьми подписантов.

Такая форма была осуществимой и вполне подходящей, при условии, что некоторые державы не станут злоупотреблять ею, чтобы присвоить себе всё влияние. Решив вопрос формы, оставалось решить два важнейших вопроса по содержанию: раздела огромных освобожденных территорий и устройства Германии. Договорились, что подписанты Парижского договора откроют конгресс и создадут два комитета: по разделу территорий и общеевропейским делам и по конституции Германии. В первый комитет прежде всего должна была войти *четверка*, но невозможно было не включить в него и Францию, а вместе с Францией, представ-

лявшей один из двух домов Бурбонов, и Испанию, представлявшую второй дом. Несмотря на включение в комитет шести держав, договорились все важные вопросы предварительно решать вчетвером, дабы сохранить руководство делами, для видимости разделив его с другими.

Германские дела решили поручить Австрии и Пруссии, которым предстояло играть в отношении этих дел такую же роль, какую *четверка* намеревалась играть в отношении дел европейских, то есть втайне решать их между собой, а затем для проформы предлагать на рассмотрение державам второго порядка, таким как Бавария, Вюртемберг и Ганновер. В состав германского комитета решили не вводить Саксонию, более или менее обреченную в глазах *четверки*, оба Гессена, еще не восстановленные, и Баденский дом, который сочли слишком незначительным.

Таков был результат первых совещаний послов четырех великих дворов. Странно и даже смехотворно, что державы *четверки* присвоили себе верховенство над всеми, уповая на единство между собой, каковое было невозможно из-за жадности и должно было разбиться вдребезги, как только обнаружатся первые взаимные притязания. Между тем их предложения, как только о них догадались, а для этого понадобилось лишь несколько дней, вызвали всеобщее возмущение. Все, кто узнал о своем исключении из совещаний и заподозрил, что исключение есть лишь способ пожертвовать его интересами, стали громко возмущаться и спрашивать, почему хотят всё делать вчетвером, вшестером или даже ввосьмером и не созывают всеобщий конгресс. Французская миссия, задетая тем, что ее не позвали на тайные совещания, также ратовала за созыв всеобщего конгресса и получила поддержку исключенных, то есть почти всех. Усердного приверженца она нашла и в лице дона Лабрадора, представителя Испании, человека разумного, который счел неуместным, несмотря на взаимопонимания между дворами Мадрида и Парижа, привезти конфликт в Вену и захотел, чтобы оба дома Бурбонов, которым предстояло защищать общие интересы, заняли единую позицию. Он во всем следовал Талейрану, принимал его идеи и вторил его речам. Так под влиянием французской миссии в салонах Вены заговорили только об одном: когда и как соберется конгресс.

Всеобщее собрание при нынешнем состоянии умов пугало *четверку*. Однако следовало подать признаки жизни и объявить, наконец, что-нибудь многочисленным дипломатам, находившимся в Вене уже три-четыре недели и напрасно ожидавшим хоть какого-нибудь сообщения. И *четверка* решила, что восемь подписантов обнародуют декларацию, в которой объявят, основываясь на статье 32-й этого договора, что они прибыли и заняты первым изучением подлежащих решению вопросов, но еще не пришли к полному согласию и потому откладывают общее решение на месяц. В течение месяца для сближения интересов и примирения позиций ими будут использоваться неофициальные сношения, а по истечении этого срока будет созван и сам конгресс, дабы облечь достигнутые результаты в официальную и достоверную форму.

Был принят документ, датированный 8 октября и содержащий, в частности, такой пассаж: «...В интересах всех участвующих сторон отложить всеобщее собрание своих полномочных представителей до того времени, когда решения по рассматриваемым вопросам созреют достаточно, чтобы результаты отвечали принципам общественного права, соглашениям Парижского договора и справедливым ожиданиям современников».

Никто в Вене не обманулся относительно смысла слов *принципы общественного права*, все захотели увидеть в них первое преимущество, достигнутое в пользу Саксонии. Для германцев этот факт стал предметом большого удовлетворения. Даже среди пруссаков находилось немало таких, кто считал, что Саксония – слишком дорогое приобретение, если за нее придется отдать русским Польшу.

Внимание германцев отнюдь не было усыплено. Малые германские государства выказывали чрезвычайное возмущение против, как они говорили, жадности Пруссии, тирании России, неуклюжести Англии и слабости Австрии. Возглавляла протесты Бавария. Ведь она имела множество причин, чтобы не позволить принести в жертву Саксонию, существование кото-

рой было необходимо для поддержания германского равновесия и единственное преступление которой состояло в том, что она вынуждена была терпеть союз с Францией, тогда как Бавария добивалась его, а не терпела. Было очевидно, что после уничтожения Саксонии Бавария окажется слишком слаба, чтобы противостоять влиянию Австрии и Пруссии. Помимо веских причин защищать Саксонию, Бавария располагала к тому и средствами. Она имела сильное представительство в Вене: помимо короля, который прибыл в Вену лично, Бавария располагала в качестве посла на конгрессе князем Вреде, который был, несмотря на многие военные ошибки, одним из наиболее уважаемых генералов коалиции, пользовавшимся большим влиянием. Вреде без колебаний говорил (и баварский король Максимилиан его не опровергал), что ради спасения Саксонии следует пойти даже до войны, отставить ложную щепетильность в отношении Франции, принять ее поддержку, если она захочет таковую предоставить, и воспользоваться ею, чтобы оттеснить Пруссию в Бранденбург и отбросить Россию за Вислу.

Еще одно германское государство привнесло свое участие в такую политику: это был Ганновер, вновь ставший независимым с 1813 года. Король Англии, некогда бывший курфюрстом Ганновера, не пожелал иметь в Германии титул более низкий, чем государь Вюртемберга, получивший от Наполеона титул короля, и также принял королевское достоинство. На конгрессе интересы Ганновера представлял Мюнстер, категорически выступавший за сохранение Саксонии. Но, как обычно, взгляды ганноверского посла не во всем совпадали с воззрениями британского, который двигался своим курсом, predetermined интересами Англии и интересами кабинета в парламенте. Однако Ганновер мог оказать Германии важную услугу, заставив принца-регента воздействовать на английских министров, дабы расположить их в отношении Саксонии более благоприятно, и это влияние, как мы увидим позже, могло оказаться полезным.

Гессен, Баден и другие княжества были готовы присоединиться к Баварии, Вюртембергу и Ганноверу и только ждали знака от главных государств. Дабы занять германских государей, сформировали комитет для обсуждения устройства Германии, состоявший из Австрии, Пруссии, Баварии, Вюртемберга и Ганновера. Председательствовать в комитете должна была Бавария: ее хотели вознаградить за исключение из общеевропейского комитета. И теперь этот германский комитет всеми возможными способами выказывал решимость защитить независимость германских государств от прихотей могущественных и амбициозных членов союза.

Наконец, ко всему пылу германцев добавлялся пыл австрийцев, который сдерживали члены правительства, но безудержно выказывали нация, двор и армия. В австрийском Главном штабе испытывали и выражали подлинный гнев по поводу планов Пруссии и России, ибо планы эти были весьма тревожны для Австрии. Австрийские военные заявляли, что послужили европейскому делу не меньше, чем остальные армии коалиции, ибо без них русские и пруссаки, прижатые к Одру после поражения при Лютцене и Бауцене, были бы вскоре отброшены на Вислу. И теперь они беспокоились, не поставят ли их, в награду за пролитую кровь, в положение худшее, чем при владычестве Наполеона, подпустив к Богемским горам справа русских, а слева пруссаков, и не сдадут ли общим врагам ущелья, важность которых доказана Фридрихом Великим и Наполеоном. Хотя австрийские генералы и не хотели войны, они без колебаний заявляли, что готовы к ней, и лучше воевать теперь, чем позднее, дабы помешать двойной узурпации.

Тем самым, позволяя этим чувствам бродить и даже их не подогревая, Франция могла быть уверена, что вскоре сыграет большую и решающую роль. Однако два человека, призванные распутать запутанные нити европейской политики, лорд Каслри и Меттерних, хотели развязать этот гордиев узел, не прибегая к мечу, ибо мечом мог быть только меч Франции, а призывать в Германию французские армии казалось им делом бессмысленным и опасным. К тому же, согласные в цели, они не соглашались относительно средств. Меттерних не хотел уступать ни Пруссии, ни России, продолжая оказывать сопротивление с необычайной терпеливостью,

дабы избежать разрыва. Лорд Каслри, напротив, хотел удовлетворить Пруссию, привлечь ее на свою сторону и использовать против России, что приводило его к оставлению Саксонии ради спасения Польши. Такое расположение лорда Каслри происходило от его понимания британских интересов, которое нуждается в объяснении, чтобы быть правильно воспринятым.

Континентальная блокада вызывала у англичан такой ужас, что они беспрестанно дрожали при мысли о ее возможном возобновлении, если не руками Наполеона, то руками Бурбонов. Такие воззрения были не более разумны, чем любые другие, вызванные страхом. Озабоченные этими опасениями, англичане вверили северное побережье Оранскому дому и припасли ему в союзники Ганновер, который предполагали усилить, и саму Пруссию, которой буквально навязали рейнские провинции, чтобы обязательно сделать ее врагом Франции. Опасаясь, что недостаточно привлекли Пруссию, англичане готовы были отдать ей даже Саксонию. Не надеясь, однако, заставить парламент вынести и оставление Польши, они были полны решимости противодействовать России, хотели ради этого разделить Польшу с пруссаками, уступив им Саксонию, и изолировать Россию настолько, чтобы ей пришлось выпустить добычу из рук.

Такая сложная политика не нравилась Меттерниху, который желал защитить и Саксонию, и Польшу. Но англичан нелегко образумить, когда они понимают свои интересы определенным образом, и Меттерних, чувствуя, что лорда Каслри может научить только неудавшаяся попытка, предоставил ему действовать. Он был уверен, что довольно защитить одно из двух дел, чтобы обеспечить спасение обоих. Отказ отдать всю Польшу означал отказ отдать и Саксонию; спасение первой означало спасение второй. Прекрасно сознавая эту связь, Меттерних и не пытался удерживать лорда Каслри, ибо был уверен, что более грозного противника Александру противопоставить невозможно. Помимо цельности характера, лорд Каслри обладал тем преимуществом, что представлял державу, менее всего заинтересованную в разделе территорий на континенте, к тому же платившую всем остальным. Превосходство того, кто дает, над тем, кто получает, всегда сквозило в отношениях Англии с союзниками.

Итак, действуя по-своему, лорд Каслри попросил у Александра аудиенции и тотчас ее получил. Александр лично посетил английского посла, чем тот был весьма тронут и выказал должную признательность и почтительность, но остался англичанином, то есть был категоричен. Прежде всего он попытался показать царю, что Англия во всем старается ему угодить; что в 1812 году она помогла ему заключить Бухарестский мир с турками и приобрести Бессарабию; убедила Персию уступить ему лучшую границу у Каспийского моря; согласилась наперекор своим интересам отдать Норвегию Швеции, чтобы окончательно обеспечить России завоевание Финляндии. Установив, таким образом, свои права на благодарность России, лорд Каслри указал, что Калишский, Райхенбахский и Теплицкий договоры, заключенные в феврале, июне и сентябре 1813 года, предписывают трем континентальным державам разделить герцогство Варшавское между собой, и это не означает, что одна из них заберет его себе целиком. Затем лорд Каслри перешел к общим соображениям и указал, что Россия внушает тревогу всей Европе и сеет смятение среди союзников и, если не поостережся, Венский конгресс, который призван положить начало господству умеренности и справедливости, вскоре будет представлять картину таких притязаний, что заставит сожалеть о Наполеоне. Английский посол высказал все эти соображения простым языком, ничего не преувеличивая, но ничего и не смягчая и только делая более ощутимой серьезность положения.

К сожалению, ни одна из четырех держав не могла преподать другой урок морали так, чтобы та тотчас ей его не вернула, и если бы Александр захотел начертать картину английских притязаний от оккупации Мальты до оккупации Мыса и Иль-де-Франса, то жестоко смутил бы британского посла. Император сдержался, хоть и был глубоко задет, однако не хотел оставаться раздавленным бременем услуг, которые Англия, по ее словам, ему оказала, и с тонкой усмешкой заметил Каслри, что Англия, конечно, облегчила России заключение мира с Персией и Турцией, но только для того, чтобы освободить русские армии для войны против Франции;

а Норвегию, конечно, отдали Бернадотту, но только для того, чтобы освободить его от обязательств в отношении Наполеона;

и что мотивы благодетеля несколько облегчают для России бремя оказанных ей благодарностей. Затем, перейдя к упомянутым договорам, Александр заявил, что они были заключены в положении, к которому более не применимы;

что при подписании этих договоров надеялись положить неограниченному могуществу Наполеона хоть какой-нибудь предел, но не надеялись отвести его к Рейну и тем более сбросить с трона. И потому будет несправедливо, когда после неожиданной победы коалиции Австрия получит Инн, Тироль и Италию, Англия – Голландию и Бельгию, а Россия и Пруссия, подвергшиеся наибольшим опасностям, не получат своей доли.

К тому же, сказал Александр, в отношении Саксонии он связан обязательством перед своим другом королем Пруссии, а в отношении Польши – перед самими поляками. Он считает, что раздел Польши был посягательством, моральные последствия которого не перестают обременять Европу, и будет честнее и дальновиднее их исправить. Только Россия располагает средствами совершить такое исправление, ибо владеет наибольшей частью польских провинций. Отказавшись от провинций, которыми владеет, и приняв легчайшую жертву со стороны Пруссии, Россия сможет восстановить Польшу в качестве отдельного королевства, снабдить ее свободными институтами, умерить ее в их использовании – словом, осуществить дело, которое составит славу Европы и Венского конгресса. Александр поставил себе эту благородную цель, ныне близок к ее достижению и не намерен отступать. Он не из тех государей, кто при необходимости с легкостью дает слово и с легкостью от него отказывается, когда нужда в том проходит. И он полагает, что оказал Европе достаточно весомые услуги, чтобы и она, в свою очередь, выказала к нему некоторое снисхождение.

Романтическая экзальтированность соединялась в императоре Александре с хитростью, что никогда не позволяло отделить в его действиях и мотивах искренность от честолюбия. Слава восстановителя Польши в самом деле затрагивала самые благородные стороны его души, и он почти убедил себя, что идет на жертву, уступая Литву и Волынь для создания Польского королевства, будто это королевство должно было принадлежать не ему, а кому-то другому. И потому, наталкиваясь на сопротивление, он почти чистосердечно негодовал.

Негодование это ничуть не тронуло лорда Каслри, и он вернулся к своей задаче, прибегая к подходящим и неподходящим доводам, предоставляемым ситуацией. Он не нашел серьезных возражений в отношении трех договоров 1813 года, ибо они были заключены в перспективе успеха и Россия, как и другие, имела право на огромные и неожиданные результаты. Лорд Каслри мог привести Александру только доводы об умеренности и равновесии, которые были превосходны, но имели вес в его устах лишь в том случае, если бы Австрия отказалась от Италии, а Англия от Бельгии. Что касается восстановления Польши, доводов у англичанина было множество, и он энергично привел их все.

Англия, сказал он царю, склонна согласиться на восстановление Польши, если оно будет полным и искренним и будет произведено на подходящих условиях. Если, к примеру, Австрия вернет все части Польши, которыми владеет; если Россия и Пруссия согласятся на такие же реституции; если будет учреждено отдельное королевство, не зависящее ни от кого из соседей; если дадут ему польского или любого независимого от участников раздела короля;

если снабдят этого короля либерально-монархическими институтами, – Англия готова рукоплескать и даже содействовать подобному делу, хотя оно и дорого ей обойдется. Но разве трое участников раздела Польши всерьез готовы ради ее восстановления на необходимые жертвы? Найдется ли король для выполнения этой прекрасной задачи? И наконец, уживутся ли вместе объединенные поляки, сумеют ли вести себя как здравомыслящая нация, достойная предоставленной ей свободы? Позволительно не только усомниться в этом, но и вовсе в это не поверить и счесть восстановление, о котором идет речь, пустым мечтанием. Ведь хотят восста-

новить неполную и ненастоящую Польшу, назвав ее Польшей только ради того, чтобы увеличить, а после увеличения сделать русской. Это значит пытаться ввести Европу в заблуждение, которому она никогда не поддастся.

Затем лорд Каслри объяснил Александру, что его план возбуждает тревогу, и если бы не лояльность его характера, эта тревога сделалась бы так сильна, что конгресс уже был бы распущен, а потому он просит царя, ради общего покоя и собственной славы, отказаться от неприемлемых притязаний.

Александр во время беседы сдерживался с большим трудом, ибо всё его обаяние не возымело на твердость английского посла никакого действия, хотя тот, в свою очередь, никак не сумел повлиять на уклончивую и впечатлительную натуру царя. Они расстались весьма недовольные друг другом, не добившись результата ни с той, ни с другой стороны.

На следующий день, опасаясь, что не сказал всего, что должно, желая оставить след в памяти августейшего собеседника и превыше всего заботясь о том, чтобы подготовить себе оправдание перед британским парламентом, лорд Каслри составил длинную ноту, сопроводил ее конфиденциальным письмом и отправил Александру. Этим он не ограничился и, несмотря на взаимные обещания сохранять тайну в отношении Франции, постарался показать ей свои заслуги, осведомив Талейрана о беседе с царем и о ноте. Последний, хоть и был недоволен сговорчивостью Англии в отношении Саксонии, пришел в восхищение от того, что лорд Каслри занял столь активную позицию. Тактика Англии внушила Талейрану мысль о равноценной тактике, но в обратном направлении. Желая восстановить равновесие в пользу Саксонии, принесенной в жертву лордом Каслри, и воспользовавшись с этой целью князем Чарторижским, часто сообщавшимся с французской миссией, он дал знать императору Александру, что Франция не уступит в отношении Саксонии и, напротив, весьма склонна уступить в отношении Польши. Маневр был ловким, ибо когда одни отказывают в том, что уступают другие, всякое согласие, удовлетворяющее одновременно обе стороны, должно сделаться невозможным.

Тем временем мелкие германские государи продолжали сопротивляться. В комитете, где занимались выработкой устройства федерации, они противостояли всем комбинациям Пруссии и Австрии, стремившихся к господству в ней. Старый титул германского императора, который столь долго носили австрийские монархи и от которого Франц II отрекся в 1806 году, когда Наполеон создал Рейнский союз, восстановлению не подлежал. Конечно, Австрия его приняла бы, если бы его сделали наследственным, но она не желала досадной зависимости от выборов, ибо они означали, что однажды императорская корона может переключиться на прусскую голову. Последней причины было довольно, чтобы Австрия отвергла подобное предложение. Поскольку императорский титул упразднился, нужны были государства-правители, управлявшие поочередно, как в Швейцарии, и Пруссия соглашалась на такое устройство при условии чередования с одной Австрией. Австрия была к этому не расположена, но в любом случае Бавария, Ганновер и Вюртемберг объявили, что примут чередование только при условии, что оно будет касаться всех, а не только двух главных держав. Стали готовить подходящее всем решение о простом председательстве в сейме (как образе бывшей императорской власти), которым навеки наделялась Австрия. Решение доставляло величие титула и обеспечивало длительность, но являло собой серьезное неудобство, оставляя нерешенным важный вопрос о военном командовании.

Не менее важным вопросом был способ сообщения союзных государств между собой и природа их отношений с европейскими державами. До сих пор союзные государства, хоть и связанные федеративными отношениями, пользовались суверенной независимостью, то есть сохраняли право на представительство и войну, могли иметь послов при всех дворах, обладать и располагать армиями. Это двойное право нередко приводило их к заключению союзов, противных если не самой конфедерации, то по крайней мере двум главным ее державам, и

если из него проистекало порой вмешательство иностранных держав, из него же проистекало и спасение общей независимости. Пруссия категорически требовала, чтобы конфедератам было отказано в праве миссий и войны. Она одна придерживалась такого мнения и столкнулась с единодушным сопротивлением в комитете. К тому же королевства Баварии, Вюртемберга и Ганновера почти при каждом случае объявляли, что выскажут мнения по спорным пунктам только после того, как будет полностью решена участь Саксонии, и даже грозили подписать общегерманский протест против планов в отношении Саксонии, приписываемых некоторым державам. В результате комитет решил более не собираться, пока не будет решен этот главный вопрос.

До 1 ноября не пришлось бы потерять много времени, ибо отсрочка конгресса была подписана и обнародована только 8 октября. Возникали опасения, что к назначенному сроку не будут достигнуты никакие договоренности. Бавария, самая активная и самая значительная держава второго порядка, выказывала решимость ради защиты Саксонии прибегнуть к оружию. Она набрала армию и довела ее численность до 75 тысяч человек, подбадривала Меттерниха, обещая предоставить по 25 тысяч солдат на каждую сотню тысяч австрийцев. От Меттерниха она шла к Талейрану, которого не было нужды подбадривать, и просила его не ограничиваться словами и переходить к действенным угрозам: заявить, например, о намерении короля Франции применить в случае необходимости силу. Талейран отвечал, что Франция готова, но не может сама брать на себя работу держав, заинтересованных в данном вопросе; что они должны объясниться, выразить хотя бы желание, и поддержка Франции будет обеспечена им по первому зову; но к французской миссии едва соизволяют обращаться, ее держат вдали от переговоров, и она не может навязывать свою помощь, если таковой не желают.

Бавария поспешила повторить эти слова Меттерниху, но тот отказался действовать быстро. В качестве извинения своей медлительности он сослался на странную тактику Англии, ради спасения Польши начинавшей с жертвы Саксонией, и на намерения Франции, по-прежнему подозреваемой им в притязаниях, что было довольно странно, ибо Франция была в ту минуту единственной державой, которая не выказывала никаких притязаний. Меттерних добавил, что слишком опасно самим звать французские армии в Германию, где они совсем недавно были завоевателями, обременительными и ненавистными; к тому же этих армий уже нет, по крайней мере для Бурбонов, которые неспособны привлечь их под свои знамена и руководить ими; а Франция много говорит, но не может и не хочет действовать, и говорит только для того, чтобы всё запутать, посеять раздор и вернуть себе прежнее положение. Князь Вреде незамедлительно передал эти слова французской миссии, что было своего рода вызовом и предложением объясниться.

Невозможно было далее участвовать в переговорах с безразличием к таким речам, следовало пресечь их утвердительными и убедительными манифестациями. Талейран объявил, что Франция обладает волей и средствами действовать, представит тому доказательства, как только ее вынудят, и в любом случае вскоре покажет и свою решимость, и свои ресурсы. Он тотчас написал королю, поручил герцогу Дальбергу написать правительству и предложил двойное решение: вооружаться и во всеуслышание объявить о причине вооружений. Зная, что Людовик XVIII не хочет войны и королевский совет склонен к войне ничуть не больше, чем король, Талейран сказал им, что война крайне маловероятна (так и было), но при всеобщем перед ней страхе тот, кто напугает ею других, получит над ними власть; что в Вене дело не пойдет дальше простых демонстраций, но нужно быть в состоянии эти демонстрации осуществить, и осуществить всерьез. Он указал, что от этого будет зависеть уважение к Франции, а значит и ее влияние, и исполнение ее пожеланий: то, чего она хочет, к примеру, в Италии, зависит от того, что произойдет в Германии, и она станет сильной там, только показав, что может быть сильной здесь.

Заговорить о Неаполе и Парме значило задеть короля за живое и заставить его прислушаться к остальным доводам. Впрочем, совет был благоразумен и дан совершенно добросовестно, хотя некое странное происшествие, как мы увидим позднее, не позволило дому Бурбонов воспользоваться им к вящей пользе.

Депеши, датированные серединой октября, дойдя до Людовика XVIII, весьма его взволновали. Он обсудил полученные предложения сначала в семейном кругу, а затем в совете. Сомнений в том, какое следует принять решение, не было, ибо все доводы, большие и малые, верные и не очень, говорили в пользу одного вывода. Во-первых, речь шла о положении французской миссии в Вене, и нельзя было позволять утвердиться мнению, что в результате реставрации старой династии Франция поражена немощью. Подобное предубеждение было опасно как для страны, так и для правящей семьи. Во-вторых, от того, какое влияние мы приобретем в Вене, явным образом зависело и желанное решение в Италии, решение, которому Людовик XVIII придавал большое значение. В-третьих, коль скоро Франция отказалась добиваться в Вене территориальных выгод, спасение Саксонии стало бы для нее результатом определенной значимости. Король Саксонии, справедливо или нет, считался жертвой своей преданности нашему делу, и в глазах всех, кто хвалился патриотизмом, его спасение делало нам честь, а потому имела уверенность, что успех в этом деле принесет династии некоторую популярность. Наконец, восстановление нашего военного могущества становилось насущным делом, ибо вследствие финансовых границ, положенных военному министру, и дополнительных расходов, неосторожно прибавленных к его бюджету, численность армии опустилась ниже предусмотренных пропорций. По всем этим причинам предложения французской миссии были рассмотрены с полной серьезностью и представлены королевскому совету.

Трудность всегда состояла только в финансах. Когда совет собрался, Людовик XVIII воззвал к патриотизму министра финансов. Тот не раз говорил, что при строгом ограничении расходов и даже благодаря ему всегда сможет в случае нужды предоставить в распоряжение короля сто миллионов франков. Восстановив общественный кредит своей твердой финансовой политикой, барон Луи действительно запасся обширным ресурсом.

Он был удивлен, когда его так скоро поймали на слове и потребовали доказательств обширности ресурсов. Однако в политике он разбирался не хуже, чем в финансах, и когда военный министр заявил, что ему хватит сорока миллионов, министр финансов отвечал, что готов выделять их по мере необходимости.

Обеспечив армии требовавшиеся деньги, теперь решали, как их потратить. По весьма разумному совету герцога Беррийского решили призвать под знамена 70 тысяч солдат, чтобы довести действующий состав до 200 тысяч человек. Для того чтобы собрать такое количество, не требовалось прибегать к конскрипции, формально отмененной, довольно было отозвать из дома часть военных, считавшихся отправленными в отпуска.

К официальным депешам, извещавшим Талейрана о решениях правительства, военному министру и министру финансов поручили добавить частные письма о прекрасном состоянии финансов и армии, чтобы Талейран мог показать их конфиденциально. Военный министр, в частности, написал, что у него скоро будет 200 тысяч, а через месяц, если понадобится, и 300 тысяч солдат в превосходном расположении духа, что вполне могло стать правдой, если бы речь зашла о внешнем враге. Король тоже написал Талейрану, излагая свои собственные чувства. Несмотря на любовь к миру, говорил Людовик, он не хочет, чтобы Франция опустилась ниже своей естественной роли и выказала неспособность поддержать правое дело. Но он недвусмысленно рекомендовал Талейрану не вовлекать его в коалицию, в которую войдут только Австрия и малые германские государства. Он желал, чтобы в коалицию была включена и Англия, — неизменно предпочитая оставаться с нею единым целым и ради пушей уверенности в исходе войны, если дойдет до такой крайности. И еще король напоминал, что его главные цели по-

прежнему состоят в удалении Мюрата с неаполитанского трона и переводе узника Эльбы на Азорские острова.

В то время как из Парижа отправляли ответы на просьбы Талейрана, в Вене не стихало волнение и не прекращались дебаты между императором Александром и лордом Каслри, ибо последний не ослаблял усилий по спасению Польши посредством уступки Саксонии. Известно было, что принц-регент [Георг] вовсе не был сторонником такой уступки и даже весьма ей противился, а потому на него стали оказывать влияние, чтобы он потребовал изменить инструкции, данные лорду Каслри. Тем временем лорд Каслри следовал своему плану в надежде отделить Пруссию от России и, изолировав последнюю, вынудить ее уступить. Хотя Фридриха-Вильгельма оторвать от Александра было трудно, прусские посланники казались не столь твердыми, как их король. Некоторых из них тревожило продвижение России к центру Европы и дурное впечатление, которое могло произвести на германцев включение Саксонии в Пруссию; словом, они дорожили альянсом с русскими не так сильно, как их повелитель. Заметив это различие, лорд Каслри задумал привлечь Пруссию к Австрии и использовать обе державы, чтобы без помощи Франции заставить Россию остановиться за Вислой, продолжив, тем самым, держать французов в стороне от важных европейских дел.

Меттерних, побуждаемый германскими патриотами и австрийскими военными, был вынужден в какой-то мере примкнуть к политике лорда Каслри и вручил Пруссии депешу, датированную 22 октября, в которой выражал, наконец, намерения императора Франца и своего кабинета. Меттерних обращался к Пруссии в исключительно сердечном тоне и напоминал, что еще в начале 1813 года, до разрыва с Наполеоном, Австрия поставила себе целью полное восстановление Пруссии, сделав его условием своей политики, а потому не следует подозревать ее в застарелой ревности, некогда разделявшей кабинеты Вены и Берлина. Он умолял Пруссию подумать, не благоразумнее ли отказаться от Саксонии, не лучше ли, наказав Фридриха-Августа некоторым сокращением территории, оставить в целости ядро его королевства, освободиться от пагубных обещаний России относительно Польши и доставить удовлетворение чувствам. Изложив свое мнение в форме совета, Меттерних добавлял, что если придется всё же уступить Саксонию, он пойдет на жертву только при определенных условиях. Во-первых, Пруссия возьмет на себя обязательство в вопросе о Польше отделиться от России и примкнуть к мнению Англии и Австрии. Во-вторых, даже при воцарении в отношениях между Берлином и Веной полной сердечности, следует поддерживать некоторое равновесие и установить верные пропорции между государствами Севера и Юга. И поскольку Австрия желает, чтобы территории государств справа от Рейна разделялись по Майну, а слева – по Мозелю, Майнц не будет принадлежать государствам Севера, то есть Пруссии.

В том положении, в какое ставила его необычная тактика лорда Каслри, Меттерних не мог выйти из затруднения искуснее, чем вышел посредством этой ноты. Позиция, занятая Австрией, чрезвычайно раздражала императора Александра, ибо всё оборачивалось против него и все усилия направлялись на отделение от него Пруссии. Пожелав опередить возможное будущее сопротивление, он задумал возвестить о бесповоротной решимости – как своей, так и Пруссии. Русские войска еще занимали Саксонию; Александр посоветовал Фридриху-Вильгельму ввести в нее прусские войска и тотчас приступать к административной и политической организации страны. Выведя из Саксонии русские войска, он направил их в Польшу, дабы сосредоточить все свои силы на Висле и явить железную преграду тем, кто попытается вырвать у него добычу. В то же время царь послал в Варшаву своего брата великого князя Константина (которому назначалось, как полагали, сделаться королем Польши), дабы он приступил к организации нового королевства. Невозможно было бросить более дерзкого вызова мнению и достоинству держав, собравшихся в Вене, ибо еще до их решения вступали во владение государствами, верховной властью в которых могли наделять только сообща.

Столь дерзкое поведение вызвало всеобщее возмущение. Обвиненный в слабости Меттерних отвечал, что надо не горевать, а радоваться, что русские уходят на север и освобождают Германию от своего присутствия. Извинение не было принято. Многие, впав в уныние, заявляли, что никогда не удастся одолеть монархов России и Пруссии, что справиться с ними можно только одним способом: отделиться от узурпаторов и созвать новый конгресс. Более решительные говорили, что не следует отступать: единственно правильное поведение состоит в сохранении верности декларации от 8 октября и созыве конгресса 1 ноября, и тогда выяснится, будут ли монархи, чья надменность перешла все границы, столь же смелы перед собравшимся конгрессом. Это чувство разделяли почти все. К тому же ноябрь был уже близко, и не нужно было долго ждать, чтобы испытать действенность предложенного средства.

Император России, любивший представительность и тем самым способствовавший увеличению расходов, на которые шел австрийский двор ради своих гостей, попросил о поездке в Офен в Венгрии, чтобы почтить память сестры⁹, усопшей супруги эрцгерцога, палатина Венгрии. Он хотел появиться в Офене в венгерском костюме и пригласил туда греков из смежных провинций, мирян и духовенство, ибо в ту минуту его взоры обращались как на Запад, так и на Восток. Император Австрии и несколько принцев обещали сопровождать Александра в этой поездке. Перед отъездом он еще раз побеседовал с Меттернихом, весьма взволновав последнего и немало поспособствовав окончательному назначению всеобщего собрания на 1 ноября.

Встреча была бурной. Беседа касалась только Польши, ибо Саксония была временно уступлена. Александр долго распространялся на эту тему и вернулся к своим обычным речам о гнусности давнего раздела Польши и полезности и моральности репарации, будто восстановление Польши под властью самого опасного из трех участников раздела могло считаться репарацией. Меттерних очень просто заметил, что Австрия также обладает весьма значительной частью бывшей польской территории и потому не хуже всякой другой державы может заняться репарацией. При этих словах Александр, выйдя из себя, назвал замечание неверным, даже неприличным, и до того забылся, что заметил Меттерниху, что он единственный человек в Австрии, который дерзает принимать с Россией подобный *возмутительный тон*. Меттерних не дрогнул, но был глубоко оскорблен словами царя и объявил, что если таковы будут впредь отношения их кабинетов, то он попросит своего императора назначить на конгресс другого представителя. Министр покинул Александра в состоянии такого волнения, в каком его никогда не видели.

Рассказ об этой необычайной сцене наполнил Вену ропотом. Вопросы сами себя, зачем поднимались против Наполеона, если тотчас после этого подпали под иго столь же тяжелое и более унижительное, ибо Александру недоставало гипнотического воздействия Наполеона, которое в течение десяти лет служило извинением для Европы.

В то время как монархи отправились в Венгрию, дипломаты, оставшиеся в Вене, занимались организацией предстоявшего события. По всеобщему мнению, следовало как можно скорее собирать конгресс, хотя согласие не было достигнуто даже по самым важным вопросам. Несомненно, нельзя было превращать конгресс в своего рода европейское *учредительное собрание*, ибо державы обладали неравными правами в отношении друг друга, но имелись общие дела, по которым следовало знать мнение всех, и отдельные дела, по которым следовало выслушать главные заинтересованные стороны и примирить их. Наконец, поскольку встреча в Вене назначалась для урегулирования интересов Европы, нужно было призвать тех, кто ее представлял, запросить и подтвердить их полномочия и договориться о порядке работы. Это и значило открыть конгресс, то есть провозгласить существование в Вене законной, бесспор-

⁹ Великая княгиня Александра Павловна (1783–1801) – *Прим. ред.*

ной, общеевропейской власти, моральный авторитет которой способен в некоторых обстоятельствах предупредить опасные потрясения.

Тридцатого октября Меттерних пригласил к себе восьмерых подписантов Парижского договора для консультаций по исполнению обязательств, содержащихся в декларации от 8 октября. Он заявил, что важные вопросы, разделяющие некоторые кабинеты, еще не решены, но их решением не перестают заниматься и наверняка придут к согласию; что работа над устройством Германии весьма продвинулась и есть надежда установить там равновесие, которое будет во многом способствовать равновесию в Европе; а тем временем ничто не мешает созвать собравшихся в Вене представителей держав, запросить и подтвердить их полномочия, сформировать комитеты и распределить между ними главные задачи.

Это мнение приняли единогласно. Договорились по очереди вызвать полномочных представителей дворов, больших и малых, затребовать их полномочия и предложить их комитету из трех держав, выбранных с помощью жеребьевки. Жребий вытянули Россия, Англия и Пруссия. В случае сомнений в полномочиях какого-либо из представителей они должны были доложить о таковых всем восьми державам.

Решили, что представители, чьих полномочий не признают, всё же будут присутствовать на заседаниях, входить в состав комитетов, предоставлять сведения – словом, выражать пожелания своих доверителей, но не будут обладать правом решающего голоса.

Кроме того, постановили, что, поскольку вопросы старшинства дворов могут породить обременительные трудности, во время конгресса все будут работать в равной степени, а роль председателя конгресса возьмет на себя князь Меттерних – как представитель монарха, в гостях у которого все собрались.

В последующие дни заседали, чтобы обсудить способ рассмотрения каждого предмета. Было ясно, что восемь подписантов Парижского договора, как инициаторы конгресса, должны играть руководящую роль в том, что касается приглашений, распределения работы, состава комитетов и формы обсуждения, в то время как решения по существу вещей должны выноситься в результате свободного соглашения между всеми заинтересованными сторонами. Поскольку в вопросах формы все признали авторитет восьми подписантов, осталось составить комитеты – и не только из заинтересованных сторон, но и из посредников, способных привести к согласию противоположные стороны.

Дела, относившиеся к будущему устройству Германии, остались вверенными комитету, состоявшему из Австрии, Пруссии, Баварии, Вюртемберга и Ганновера, с присоединением представителей других германских государей, если появится нужда в их присутствии.

Крупные территориальные дела Европы разделялись на дела Севера и Юга. Дела Севера касались главным образом Голландии, Германии, Саксонии и Польши и были самыми важными и спорными. Их рассмотрение можно было доверить только главным державам Европы, одни из которых имели прямую территориальную заинтересованность в поднимаемых вопросах, а другие были заинтересованы в равновесии и потому могли играть роль посредников. Комитет вверили пяти крупнейшим европейским державам – России, Пруссии, Австрии, Англии и Франции. Их миссия была самой трудной, и если бы им удалось договориться, ни у кого не обнаружилось бы ни причин, ни средств оспорить их решения.

Дела Юга относились почти исключительно к Италии. Двумя державами, наиболее заинтересованными в итальянских делах, были Австрия и Испания. Франция была заинтересована главным образом из-за Неаполя, но и другим крупным европейским державам этот вопрос был небезразличен. Поэтому к Испании и Австрии присоединили Францию, Англию и Россию, свободных от территориальных притязаний в этой области и могущих играть роль посредников.

Швейцария в высочайшей степени интересовала всю Европу. Комитету, в который включили Австрию, Францию, Россию и Англию, поручили заслушать мнения кантонов и попытаться их примирить. Наконец, образовали комитет, посвященный свободе речной навигации,

в который вошли Франция, Пруссия, Австрия и Англия, и комитет для составления договора о работоторговле – в него вошли исключительно морские державы.

Распределив таким образом работу, продолжили переговоры по Саксонии и Польше, столь бурно начавшиеся, и приступили к переговорам по Италии и Швейцарии, о которых беседовали прежде лишь от случая к случаю, без продолжения и без полномочий.

Итальянские дела представляли трудности самого разного рода. Нужно было произвести обещанное королю Сардинии присоединение Генуи к Пьемонту; добиться согласия Пармского дома, поддержанного Испанией, с Марией Луизой, имевшей поддержку отца и императора Александра; вернуть Пию VII занятую Мюратом Папскую область; удовлетворить оба дома Бурбонов в отношении Неаполя.

Последний предмет был самым трудным; он чрезвычайно занимал Талейрана, получившего на этот счет от Людовика XVIII особое поручение и ежедневно подстегиваемого настойчивыми письмами своего повелителя. Все державы желали падения Мюрата, и Австрия не меньше остальных, потому что прекрасно понимала, что он никогда не успокоится и в беспрестанном беспокойстве, от которого не сможет отделаться, будет искать поддержки итальянских либералов, то есть останется вечной причиной волнений в Италии.

Еще один предмет возбуждал необычайное рвение Талейрана: возможный переезд Наполеона на Азорские острова. По этому вопросу, как и по вопросу о Неаполе, Меттерних, не стесненный в данном случае никакими обязательствами, разделял мнение и пожелания Талейрана. Он всегда считал в высшей степени неосторожной передачу Наполеону острова Эльба, всего в четырех часах от побережья Италии и в сорока восьми – от побережья Франции. Но если его не стесняли никакие обязательства, то стесняла трудность самого предмета. Император Франц не позволял себе обременять политику узами родства, однако не оставался совсем уж нечувствителен к семейным привязанностям и, хотя недолюбливал зятя, не захотел бы сделать его палачом и послать на верную смерть в убийственный климат. Возможно, он не стал бы возражать, если бы подобную меру предосторожности приняли союзники, но не решался проявить инициативу сам.

Англия также полагала, что нельзя оставлять Наполеона в такой близости от европейского побережья, и лорд Каслри изъяснялся по этому поводу без обиняков; но он считал препятствием договор от 11 апреля: ему нелегко было бы добиться от британского парламента одобрения подобного вероломства. Поэтому английский посланник хотел дожидаться какой-нибудь ошибки Наполеона или его предполагаемых сообщников, чтобы получить возможность оправдания принятых против него мер предосторожности. А пока он не переставал требовать от Франции уплаты оговоренных двух миллионов, дабы европейские державы не оказались первыми нарушителями договора. Его коллеги из Вены обращались к Талейрану с подобными же просьбами, а Талейран тщетно передавал их Людовику XVIII.

Пруссия также не имела возражений против каких-либо мер предосторожности в отношении Наполеона. Настоящее препятствие было в другом: в великодушии, чести и, следует сказать, расчетах императора Александра. Этот государь был подлинным автором договора от 11 апреля, и его упрекали по этому поводу достаточно часто, чтобы он мог забыть о своей роли. Не впадая в колебания, он считал делом чести добиваться верного соблюдения договора, требуя то княжеского пожалования для принца Евгения, то сохранения за Марией Луизой герцогства Пармского, то порицая отказ французской казны выплатить 2 миллиона.

В итоге все, за исключением Александра, думали о мерах в отношении Наполеона, но не смели о них заговаривать, опасаясь, что огласка сделает их невозможными. Это был один из тех пунктов, о которых Меттерних говорил, что их решение нужно предоставить времени.

Низложение Мюрата и переселение узника Эльбы были самыми деликатными из итальянских дел, и когда державы впервые завели о них речь, Меттерних показался смущенным.

Он заговорил об опасности осложнений в Италии при несоблюдении величайшей осторожности, чем вызвал не одну неприятную реплику Талейрана. Тем не менее, следуя географическому порядку, Неаполь оказывался последним из итальянских вопросов, и такая классификация была единственной уступкой, которой добились от французского представителя. При принятии такого порядка вопрос о Генуе и Пьемонте предшествовал всем остальным. Его и стали обсуждать в первую очередь.

В целом все были согласны выполнить Парижский договор и оставить Геную королю Сардинии в возмещение за Шамбери. Не беспокоясь о мнении генуэзцев, которые были против, комитет утвердил их присоединение к сардинской короне, пообещав обговорить гарантии свободы и торговли. Таким образом, комиссия, занимавшаяся Италией, покончила с делом Генуи за два-три заседания.

После этого настала очередь вопроса о порядке наследования в Савойском доме. Было очевидно, что трон опустеет, если не обеспечить его ветвью Савойских-Кариньяно, поскольку принцы основной ветви не имели наследников. Предлагаемый порядок наследования могла оспорить только Австрия, в надежде через брак перенести корону Сардинии на голову австрийского наследника. Но она не осмелилась бы признать подобное притязание, уже завладев большей частью Италии. Поскольку никто не возражал, пожелание Франции было принято и право наследования получила ветвь Савойских-Кариньяно.

Третьим по порядку вопросом стал вопрос о государстве Пармском. Испания, при поддержке Франции, требовала, чтобы в соответствии с происходившей в Европе репарацией Пармскому дому вернули его старое герцогство или Тоскану, которая под наименованием Этрурии была предоставлена ему Первым консулом по просьбе Карла IV. Ответить на столь обоснованное требование было нечего. Между тем, поскольку Этрурия в соответствии с тем же принципом была возвращена великому герцогу Тосканскому, оставалось только одно решение – вернуть королеве Этрурии Парму и Пьяченцу. Но что тогда станет с договором от 11 апреля и с Марией Луизой, дотация которой основывалась на этом договоре?

Мария Луиза, как мы уже говорили, проживала в Шёнбрунне и, из своих покоев прислушиваясь к шуму празднеств, чествовавших ее падение, как ни удивительно, почти досадовала на невозможность к ним присоединиться, до такой степени скука одолевала ее слабую и легкомысленную душу. Всецело покорившись воле отца и государей-союзников, она молила, чтобы взамен ей оставили обещанный сыну удел, разрешили там поселиться и забыть о блестящем сне, ослепившем на миг ее юность. Несомненно, жене Наполеона можно было пожелать более энергичных чувств, но если женщина, которую он взял в жены лишь из политических соображений, покинула его из слабости, он не имел права жаловаться на судьбу. Следует проявить снисходительность к женщине, которую короли и народы безжалостно принесли в жертву своему покою, сначала возведя на высочайший из тронов, а затем сбросив с него ради сиюминутных выгод, ничего не желая знать о ее чувствах, жизни и страданиях, подобно тому, как давят ногой муравья, даже не удостоив его взглядом.

Между тем, кто не испытывал сострадания к несчастной? Когда Меттерних говорил России, Англии, Франции и Испании, что невозможно требовать от императора Франца, пожертвовавшего ради общей политики уже многим, чтобы он ограбил еще и собственную дочь, все присутствующие смущались, даже представители Франции и Испании. Россия требовала исполнения взятых обязательств. Англия думала, как трудно их нарушить. Людовик XVIII уступил бы что угодно, лишь бы ему пообещали удалить Мюрата, а Фердинанд VII требовал (скорее из духа семейственности, нежели из привязанности к сестре), чтобы бывшей королеве Этрурии предоставили хоть лоскут итальянской земли. Вследствие подобного расположения умов подумывали о сделке: вернуть ей Парму и Пьяченцу, а Марии Луизе отдать часть Папской области, с обратимостью наследства Святому престолу. Но католический дух времени и желание обеспечить процветание Святого престола, который не мог обойтись без Папской области

в деле восстановления финансов, противились такому решению. Тем не менее присутствовала явная готовность договориться по большинству итальянских дел, даже по делу Мюрата.

Комиссия, разбиравшая швейцарские дела, нашла их весьма запутанными. Десять кантонов, новых, образованных из ранее подчиненных территорий, и старых, но одушевленных духом справедливости, требовали сохранения девятнадцати кантонов и подтверждения либеральных принципов Акта посредничества. Они противостояли девяти другим кантонам, составлявшим партию старого режима, в которую входили вперемешку аристократический кантон Берн и такие демократические кантоны, как Швиц, Ури и Гларус. Эти девять кантонов требовали, чтобы им вернули территории, которыми они некогда владели, то есть перевели кантоны Во, Аргау и Тичино в подчиненное положение.

Поначалу Францию хотели исключить из этих щекотливых переговоров, потому что в Швейцарии хотели уничтожить ее влияние так же, как в Германии и Италии. Но, что странно, и Берн, по преимуществу аристократический, и Люцерн, и Фрибур – кантоны, где более всего силен был революционный дух, выказали сильнейшую привязанность к Франции, к Франции Бурбонов, разумеется. Это расположение проистекало из того, что многие швейцарские военные некогда служили во Франции, приобрели там звания, почести, состояние и сохранили в отношении нее подлинную признательность. Они весьма недвусмысленно настаивали на том, чтобы французский представитель вошел в комитет, разбиравший швейцарские дела, и им невозможно было отказать. Представлять французскую миссию в этом комитете назначили герцога Дальберга.

Вмешательство Франции возымело превосходные последствия. Когда кантоны, громче всех выступавшие за возврат к старому режиму, увидели, что Талейран и Дальберг, хоть и стараются ради них, но не решаются утверждать, что нужно возвратиться в подчиненное положение Во, Аргау и Тичино, они были немало смущены и сочли, что их дело проиграно. И потому, когда император Александр, верный своим либеральным воззрениям, настоял на сохранении девятнадцати кантонов и принципов Акта посредничества, а Франция не оспорила справедливости подобного заключения, Берн и его приверженцы начали уступать, и стало возможным найти разумное решение. Договорились, что девятнадцать кантонов будут сохранены, принципы гражданского равенства продолжают главенствовать во внутреннем режиме конфедерации, четыре-пять главных кантонов будут поочередно наделяться федеральной властью, а Берн получит возмещение за жертвы, которых от него требуют. Денежные компенсации за территории, которые нельзя было вернуть в подчиненное состояние, предоставлялись и другим кантонам-жалобщикам.

Таким образом, итальянские и швейцарские вопросы постепенно решались и даже были большей частью уже решены, за исключением неаполитанского вопроса. При таком положении вещей только Саксония и Польша оставались предметами озабоченности, причем дело настолько осложнилось, что приближалось, казалось, к общему конфликту.

Лорд Каслри продолжал попытки повлиять на прусских послов, дабы отделить их от короля и императора Александра. Меттерних, вынужденный приспособиться к тактике лорда Каслри, ему содействовал с сожалением, ибо уступка Саксонии дорого ему обходилась и крайне не нравилась австрийцам. Тем не менее пламенные просьбы лорда Каслри и холодные советы Меттерниха возымели некоторое действие. Их мощные доводы, предназначенные особенно для военных, находивших водворение России в низовьях Варты весьма опасным, произвели некоторое впечатление на пруссаков, которые не замедлили повлиять на своего короля. По крайней мере Александру показалось, что он заметил некоторое влияние, и он крайне огорчился, ибо если бы удалось рассорить его с Пруссией, он остался бы один против всей Европы. В таком случае он был бы унижен в глазах поляков и вынужден выслушивать упреки от своих собственных подданных.

В таком досадном положении Александр прибег к объяснению с Фридрихом-Вильгельмом наедине, пригласив его на обед, и облегчил душу, высказав всё с крайней горячностью. Он напомнил о клятвах в дружбе, которые они дали друг другу в начале 1813 года, в минуту воссоединения на Одере. Он напомнил о преданности, с какой он, Александр, несмотря на советы вернейших подданных остаться на Висле и вступить в переговоры с Наполеоном, стремился помочь германцам и освободить их. Он сказал, что без этой преданности германцы и сейчас оставались бы рабами, а Пруссия имела бы не более 5 миллионов подданных; что подобным поворотом фортуны они обязаны только своему единству; что все державы коалиции хотят воспользоваться этой переменной, правда, исключив русских, которым ею и обязаны. Он сказал, что запереть русских на Висле – значит оставить их без награды за пролитую кровь, ибо после Московской катастрофы Наполеон предлагал им Вислу и они могли вернуться домой, не губя еще 300 тысяч солдат в войне 1813 года, избавившись от Великого герцогства Варшавского и обеспечив себе Бессарабию и Финляндию. Но теперь уже, видно, не помнят об их решении перейти через Вислу, и австрийцы, которых пришлось силой вовлекать в европейский крестовый поход и которые не пролили и четверти крови, пролитой русскими, одни хотят пожинать плоды победы. Не имея ни одной сожженной деревни, они не хотят вознаградить русских за руины спаленной Москвы. Дипломаты только делают свою работу, но государи, исполненные чести, такие как Александр и Фридрих-Вильгельм, не должны позволять неблагодарным их рассорить. Они всегда удачливы, когда едины, и неудачливы, когда разобщены, и потому должны верить в союз и, ради счастья их народов и собственного счастья, жить и умереть союзниками.

Фридрих-Вильгельм был весьма восприимчив к соображениям порядочности и постоянства в дружбе; вдобавок он чувствовал, что Германия обязана императору Александру, ибо если бы тот последовал совету Кутузова и вступил с Наполеоном в переговоры после перехода через Березину, исход событий был бы совсем иным. Он выказал чувствительность и к поистине необычайной горячности Александра (по собственному рассказу Гарденберга), ибо с некоторым суеверием относился к дружбе с ним. Растроганный до глубины души, Фридрих-Вильгельм бросился в объятия Александра и поклялся ему в верности. Но Александр сказал, что верности короля недостаточно без верности его министров, а в ней у него есть основания сомневаться. Позвали Гарденберга, и разговор, начавшийся с королем, закончился с премьер-министром. С последним объяснение получилось столь же бурным, и, после тщетной попытки сопротивления, министр был вынужден сдаться и обещал поддержать политику Александра и Фридриха-Вильгельма.

Идея, которую они намеревались защищать сообща, сводилась к передаче России наибольшей части польских провинций при одновременной передаче Пруссии всей Саксонии. В своих романтически-честолюбивых планах Александр особенно стремился завладеть Варшавой, которую при последнем разделе передали Пруссии, дабы отделить голову от туловища и превратить несчастную страну в труп. Александр хотел получить оба берега Вислы, чтобы обладать Варшавой, то есть головой и сердцем туловища, которое намеревался воскресить, и достаточной территорией на левом берегу, чтобы столица нового государства не находилась на границе. По этим причинам он желал получить всё герцогство Познанское, то есть оба берега Варты.

Скрепив узы с Пруссией, снова договорились, что Россия перейдет через Вислу и получит ее левый берег, поднявшись по нему весьма высоко. Тем не менее в Пруссии она должна была зайти в направлении Варты настолько далеко, насколько далеко зайдет Пруссия в центр Германии, то есть в Саксонию. Этот пункт предстояло урегулировать после того, как будет покончено с вопросом о Саксонии, и в зависимости от успешности этих переговоров. Что касается Австрии, Александр намеревался оставить ей Галицию, которой она обладала после первого раздела, и вернуть части Польши, приобретенные ею при втором и третьем разделах и

включавшие левый берег Вислы до Пилицы и правый до Буга. В своих целях Александр был прав, ибо без этих частей Варшава оказалась бы на границе. Но это как раз значило требовать у Австрии всю ее долю герцогства, которую договорились вернуть прежним участникам раздела. Правда, можно было смягчить требуемую от Австрии жертву оставлением ей соляных копей Велички, обладавших для нее огромной ценностью; можно было сделать Краков вольным городом; можно было, наконец, переуступить Австрии богатый и многонаселенный Тарнопольский уезд, образующий Восточную Галицию и отданный Наполеоном России в 1809 году.

Тем самым, вновь придя к согласию, Александр и Фридрих-Вильгельм сделали только тверже в намерениях и решительнее в речах. Гарденберг, которого лорд Каслри надеялся поколебать, пообещав ему Саксонию на указанных условиях, не смог скрыть от представителя Англии обновления уз между Пруссией и Россией. Он сам рассказал о сцене между Фридрихом-Вильгельмом и Александром, заявив, что никогда не видел ничего подобного и что перед такой сценой сопротивление было невозможно. Англичанин понял, что обманулся в своих расчетах, а расчеты Меттерниха оправдались, ибо последний притворился, что жертвует Саксонией только после того, как убедился, что Пруссия не выполнит условий, на которых ей ее уступят. Лорд Каслри обратился к Гарденбергу с пылкими упреками, сказав, что тот должен скорее подать в отставку, чем сдаться, но не заставил его это сделать, и Пруссия осталась связанной с Россией крепче прежнего.

Неожиданное происшествие еще больше выявило просчеты английской дипломатии и вызвало настоящий кризис. Пруссия демонстративно оккупировала Саксонию и послала туда гражданских уполномоченных для установления прусской администрации. Случайная огласка, ставшая неизбежным следствием этих неосмотрительных действий, довершила скандал и довела противников альянса до последней степени отчаяния.

Князь Репнин, российский губернатор Саксонии, покидая эту провинцию, которой управлял со всем благоразумием, счел должным обратиться к саксонцам с прощальным посланием и в обнародованной декларации прямо объявил, что они перейдут под управление Пруссии вследствие договоренности с Англией и даже с Австрией. Он заявил также, что страна их не подвергнется расчленению, что они останутся, как им и обещали, подданными одного государя; что государь этот, Фридрих-Вильгельм, известный своими добродетелями, обеспечит их права и позаботится об их благополучии, как он уже позаботился о благополучии своих многочисленных подданных;

что они, несомненно, должны сожалеть о старом короле, который в течение сорока лет обеспечивал им самый сладостный покой, но судьба произнесла свой приговор, и он надеется, что после справедливых сожалений о Фридрихе-Августе они будут верны Фридриху-Вильгельму и своей покорностью и преданностью выкажут себя достойными его благодеяний.

Само чистосердечие этой декларации и превосходные чувства, которые она выражала, произвели огромное впечатление на всех германцев, собравшихся в Вене. Лорда Каслри и Меттерниха засыпали вопросами. Их спрашивали, правда ли, что Саксония сделалась прусской провинцией и что торжественно объявленный в Вене конгресс созывался, тем самым, для совершения узурпации, не менее гнусной, чем узурпации, в каких обвиняли Наполеона. Волнение умов дошло до предела, и лорд Каслри, опасавшийся, что Англия неправильно поймет интригу, уступавшую Саксонию ради сохранения Польши, вместе с Меттернихом, ничуть не сомневающимся в отвратительном впечатлении, которое такая политика произведет на австрийцев, поспешили опровергнуть утверждения князя Репнина. Они опровергали их в беседах и в газетных статьях, утверждая, что русский губернатор Саксонии выдал за действительное то, что еще даже не решено и зависит от весьма трудных переговоров, далеких от завершения. Русские и пруссаки с величайшей язвительностью отвечали, что это игра словами, что ничего, конечно, еще не подписано, но Австрия в ноте, означавшей обязательство, уже согла-

силась на включение Саксонии в состав Пруссии на условиях, которые были ею полностью выполнены, а Англия не опротестовывала это включение. В разгар всех этих препирательств и опровержений новое происшествие такого же рода еще более усилило всеобщее волнение. Стала известна адресованная полякам прокламация великого князя Константина, в которой он от имени своего брата Александра призывал их объединиться под древним знаменем Польши, дабы защититься от угрозы их существованию и правам.

Последняя манифестация довершила всеобщее отчаяние. Противники пруссаков и русских задумались о том, что подобной дерзости следует противопоставить нечто большее, нежели статьи в газетах и речи в венских салонах, и без колебаний стали говорить, что нужно срочно готовить войска и распорядиться ими так, чтобы сдержать честолюбцев, притязавших на своевольный раздел Европы. Больше всех волновались баварцы и австрийцы: первые – потому что упразднение столь важного государства, как Саксония, было устрашающим примером для всех государей конфедерации, вторые – потому что тесный союз Пруссии с Россией и водворение этих двух держав у подножия Богемских и Карпатских гор было самым тревожным сигналом для их безопасности.

Как ни велико было желание избежать войны и не прибегать к помощи Франции, что в случае разрыва становилось неизбежным, сейчас об этом уже следовало подумать. Лорд Каслри получил инструкции, переменявшие его позицию и всё поведение. Действуя до сих пор на манер британских послов, ни во что не ставивших ганноверские интересы, дорогие скорее правящему семейству, нежели всей нации, он вовсе не считался с печальями германских государей и в вопросе Саксонии, казалось, забывал, что был послом не только английского, но и ганноверского короля. Он основывал свое поведение на предположении, что английский парламент куда больше дорожит Польшей, нежели Саксонией. Однако ему не могли позволить долго следовать подобной тактике. Принцу-регенту отправили из Вены немало писем, в том числе и принцы Кобургские – Эрнст и Леопольд. Во время последних войн они примкнули к России, служили в ее армиях, но не забыли своего долга в отношении главы дома, саксонского короля, всегда защищавшего их от Наполеона. И в эту минуту они с достойной восхищения преданностью вступились за его дело. Эрнст находился в Вене, где ежедневно давал отпор гневу и угрозам Александра, Леопольд поехал в Лондон, где готовился, по слухам, вступить в брак с принцессой Шарлоттой Английской. Оба дали принцу-регенту почувствовать, как опасно жертвовать Саксонией, и Георг, в свою очередь, настоятельно попросил Сент-Джеймский кабинет категорически приказать лорду Каслри защитить Саксонию. Приказ был отдан и дошел до Вены в первых числах декабря.

Он прибыл как нельзя более кстати. Обязав лорда Каслри переменить поведение, приказ фактически помог ему в этом, предоставив для объяснения перемены совершенно естественный мотив. Английский посланник согласился с Меттернихом в том, что нужно категорически отказаться от жертвы и выказать решимость противостоять обоим государям-союзникам всеми средствами. Князь Вреде, активный и весьма сведущий представитель Баварии, настаивал на энергичных решениях. Он, как мы уже говорили, предлагал от имени своего двора по 25 тысяч человек на каждые 100 тысяч австрийцев, и хотел, кроме того, договориться с Францией, ибо без нее баланс сил оставался равным. При равном количестве и предположительно равном качестве войск исход войны оставался неясен, а кроме того существовал риск годами безрезультатно уничтожать друг друга на глазах Франции, остающейся зрительницей конфликта, столь для нее приятного. Дабы сделать исход войны решающим, нужно было вовлечь в конфликт и ее, приняв 100 тысяч французов, которые окончат спор, напад на Пруссию через рейнские провинции или Франконию. Несомненно, следовало опасаться, что Франция запросит за помощь высокую цену, но французская миссия, хоть ее и не спрашивали, предложила помощь бесплатно, притом с величайшей настойчивостью.

Доводы, приведенные Баварией, стали решающими. Было бы безумием не принять помощи Франции, которая предлагалась бесплатно и должна была быть весьма эффективной, хотя все и делали вид, что испытывают в этом сомнения. Повсюду распространялся слух о наших вооружениях, спровоцированный Талейраном, и Вена была переполнена письмами, присланными из Парижа, в которых рассказывалось о том, что там происходит. Письма говорили о внутреннем состоянии Франции и о недовольстве, возбужденном политическим курсом Бурбонов, но все они, упоминая дурные настроения армии, добавляли, что сама армия значительно увеличилась, никогда еще не состояла из лучших солдат и при применении вне страны будет столь же грозна, как в дни самой блистательной славы. Письма, адресованные русским и пруссакам, были менее благожелательны в отношении Франции, а особенно в отношении Бурбонов, но те, что исходили от Веллингтона и Винсента, послов Англии и Австрии, хоть и признавали политические ошибки династии, в один голос хвалили французскую армию и прекрасное состояние наших финансов, быстрое восстановление которых казалось необъяснимым.

Сомневаться в действенности помощи, которую могла предоставить Франция, более не приходилось. Однако союзники не спешили признаваться ей, что замышляют кампанию друг против друга. К тому же было известно, что Бавария всегда сообщит Талейрану достаточно, чтобы тот оставался наготове. Вследствие чего план приняли к исполнению в марте 1815 года; в нем, не сказав Франции и слова, располагали ее силами как уже предоставленными.

Согласно этому плану, задуманному Шварценбергом и Вреде, 320 тысяч австрийцев, баварцев, вюртембергцев, баденцев и саксонцев должны были выдвинуться двумя армиями через Моравию и Богемию. Первая, численностью 200 тысяч человек, под началом Шварценберга, – через Моравию на Верхнюю Вислу, а вторая, численностью 120 тысяч, под началом Вреде, – через Богемию на Одер. В это же время 50 тысячам французов надлежало вступить во Франконию, дабы помешать обойти Богемскую армию, и еще 50 тысячам – в рейнские провинции, чтобы действовать в Вестфалии сообща с голландско-бельгийской армией. Не вызывает сомнений, что в этом случае Пруссия была бы сокрушена, а Россия – отброшена далеко за Вислу. Англия до окончания войны с Америкой избавилась бы от поставок войск, при условии содержания членов новой коалиции, за исключением французов, уже не нуждающихся ни в деньгах, ни в военной помощи. Все эти планы, которые предполагалось обдумать тщательнее, если дело дойдет до их осуществления, оставались тайной англичан, австрийцев и баварцев; последние могли их раскрыть французам неофициальным путем.

Опираясь на эти планы, Меттерних, наконец, категорически объяснился с русскими и пруссаками и в ноте от 10 декабря заявил, что, ввиду единодушного мнения государств Германии, окончательных решений Англии и всех крупных европейских держав и особого мнения Франции, ввиду, наконец, невыполнения условий, поставленных Пруссии в минуту снисхождения к ее желаниям, Саксония будет сохранена в ее нынешнем состоянии, за исключением некоторых территориальных жертв, которые сочтены необходимыми для улучшения начертаний прусской границы и станут наказанием за ошибки, допущенные королем Фридрихом-Августом.

Решения Австрии, на сей раз самые твердые, вызвали в Вене величайшее волнение. Так можно было выражаться, только приняв взвешенное решение дойти до последних крайностей, подсчитав ресурсы, подготовив средства и завязав альянсы. Впрочем, с первого взгляда было ясно, что Австрия, Англия и Франция пришли к согласию и приняли решение действовать сообща. А если союзники все вместе едва смогли одолеть Францию, что же будет, если Пруссия и Россия останутся одни против Франции, Австрии и Англии? Партия двух северных держав была проиграна. Пруссаки, против которых и была направлена эта манифестация, почувствовали сильнейшее раздражение.

Германские государи, как северные, так и южные, почти все собравшиеся в Вене, также решили обнародовать совместную декларацию, имевшую целью протест против аннексии Саксонии Пруссией. Один только государь отстранился от этого единодушия, то был сын короля Вюртемберга Вильгельм, служивший с французами в России и блестяще воевавший то с нами, то против нас. Он пленился очарованием великой княжны Екатерины, которую хотел сделать своей супругой, и примкнул к русской политике. Этот принц, обыкновенно не соглашавшийся с отцом, использовал всё свое влияние, чтобы помешать задуманной декларации. Он пригрозил мелким государям гневом Пруссии, если они поставят свою подпись, и ему удалось их уговорить. Тем не менее результат оставался прежним, и комитет по германским делам заявил, что приостанавливает свою деятельность, пока не будет решена участь Саксонии.

Перед лицом такого мощного сопротивления Александр согласился, наконец, хоть и с величайшим трудом, на некоторые уступки. В начальной экзальтации российский император думал потребовать всю польскую территорию. От этой мысли он уже отказался, но был полон решимости требовать и добиваться любой ценой территории, составлявшей основную часть Польши, то есть бассейна Вислы от Сандомира до Торна. И Александр почти выиграл это своего рода пари, которое держал против всей Европы как из самолюбия, так и из честолюбия и рыцарского духа. А потому он был готов к некоторым уступкам, коль скоро основа его притязаний была спасена.

Основную уступку ему предстояло сделать Пруссии в виде Великого герцогства Познанского. Если бы Александр забрал всю польскую территорию, он подошел бы к самому Одеру, ибо эта территория простиралась почти до места слияния Варты с Одером и оканчивалась неподалеку от Кюстрина, Франкфурта-на-Одере и Глогау. Тем самым он оставлял на правом берегу Одера лишь узкую полосу для Силезии и вклинивался в центр прусской монархии, что весьма тревожило германцев и самих пруссаков. Те из них, кто не столько уступал самолюбию, сколько учитывал здравые географические соображения, находили, что страна больше нуждается в укреплении от Торна до Бреслау, нежели в расширении от Виттенберга до Дрездена. Оставляя пруссакам герцогство Познанское, то есть большую часть бассейна Варты, им уступали прекрасную территорию, и становилось возможным наметить между Польшей и Пруссией удобную границу. Грозное острие, направленное в бок Пруссии, было бы перерезано, а польская граница из-за этого не искажалась, ибо вокруг Варшавы оставалась еще довольно обширная территория. Из двух с половиной миллионов поляков, которых Пруссия могла потребовать за свою долю Великого герцогства Варшавского, она получала около миллиона, и по крайней мере столько же нужно было взять в центре Германии. Теперь, если бы в Германии, как и в Польше, пришли к единству, можно было, отделив только часть Саксонии, вернуть Пруссию к обещанному ей состоянию 1805 года.

В отношении Австрии приходилось больше требовать, нежели уступать, что не облегчало дела. Но здесь притязания России были действительно обоснованными, при допущении, разумеется, принципа восстановления Польши в качестве отдельного королевства. Австрия по-прежнему владела Галицией, плодом первого раздела, и Наполеон никогда не думал ее у нее забирать, не считая 1812 года, когда он надеялся разгромить Россию и создать Польшу французскую. Когда затея потерпела крах, Галиция осталась у Австрии, и ни самым экзальтированным полякам, ни даже Александру не приходило в голову востребовать ее у Вены. Но имелись провинции на правом и левом берегах Вислы, до Пилицы с одной стороны и Буга с другой, которые Австрия приобрела при последнем разделе и которые забрал у нее Наполеон для учреждения Великого герцогства Варшавского. Если бы их вернули Австрии, она стала бы обладательницей бассейна Вислы до самых врат Варшавы. В таком случае уже невозможно было бы говорить о восстановлении Польши. Австрия это понимала, поэтому с ее стороны не ждали серьезных возражений. К тому же ей могли предложить довольно значимые уступки, о которых мы уже говорили.

Таким образом, Россия приняла решение окончательно уступить герцогство Познанское Пруссии, что обязывало последнюю быть менее требовательной в Германии, и постаралась полюбовно договориться с Австрией относительно ее границы с Польшей. Она дала совет Гарденбергу обратиться к Австрии с весьма умеренным ответом и сделала всё возможное, чтобы добиться своих главных целей без разрыва, губительного для нее и для Пруссии и, несомненно, скандального для всех.

При такой постановке вопроса стало возможно решить его мирным путем. Австрия, со своей стороны, пошла на некоторые уступки. После возвращения Тироля и Италии, о которых она и не мечтала при подписании Калишского, Райхенбахского и Теплицкого договоров, было неуместно протестовать против расширения России. Согласившись в принципе с восстановлением Польши, Австрия не могла удерживать бассейн Вислы до Пилицы и Буга, поэтому согласилась оставить за собой Вислу только до Сандомира. В Сандомире река Сан превращалась в границу Галиции – так возвращались к старым границам. Обсудили Краков, соляные копи и Тарнополь, и по всем этим пунктам Россия выказала большую сговорчивость. Она отдала территорию вокруг Кракова и предоставила нейтралитет этому городу, а также отказалась от обладания копиями Велички и Тарнопольским уездом.

Чем больше сговорчивость выказывала Австрия в вопросе Польши, тем больше твердости она могла и хотела выказать в отношении Саксонии. В частности, она продолжала настаивать, что, поскольку основное условие, поставленное Пруссии, – примкнуть к Австрии и Англии в польском вопросе – не выполнено, Австрия может считать себя полностью свободной от обязательств. Она напомнила, что всегда жертвовала Саксонией наперекор себе, из чистого снисхождения и из желания единства, ибо упразднением Саксонии по германскому равновесию наносился жестокий удар. К тому же, добавляла Австрия, Англия, будучи лучше осведомлена, переменила свое мнение, и, поскольку она отказалась от жертвы, на которую вначале соглашалась, уже не позволительно думать о включении Саксонии в состав Пруссии. Австрия выказала категоричность в этом пункте и заявила, что согласится только на отделение некоторых территорий, которых будет довольно, чтобы наказать Фридриха-Августа, наилучшим образом прочертить границы прусской земли и исполнить взятое в отношении Пруссии обязательство вернуть ее к состоянию 1805 года.

Войдя в детали, Австрия приложила все старания, чтобы доказать, что Пруссия вовсе не нуждается в приобретении Саксонии. Она потеряла из-за Наполеона 4 миллиона 800 тысяч подданных из 10 без малого миллионов, то есть почти половину. С тех пор как члены коалиции победоносно перешли через Эльбу и Рейн, Пруссия фактически вернула себе около 1,5 миллионов подданных, вновь захватив Данциг, Магдебург, Вестфалию и прочие крепости. Тем самым, чтобы получить полное возмещение, ей нужны еще 3 миллиона 300 тысяч. Она может претендовать на 2 миллиона 500 тысяч за свою долю Великого герцогства Варшавского; на 500 тысяч за герцогства Анспах и Байройт, переданные Баварии в 1806 году; на 300 тысяч за увеличение, обещанное Ганноверу, и на 50 тысяч за возмещение Саксен-Веймарскому дому. Итого, на 3 миллиона 350 тысяч человек, которые вместе с 1,5 миллионами, уже полученными обратно, составляют 4 миллиона 850 тысяч, то есть даже чуть больше, чем она потеряла. А ведь Россия, отказываясь от герцогства Познанского, оставляет Пруссии миллион человек; да и провинции на левом берегу Рейна и герцогство Бергское на правом берегу включают не менее 1 миллиона 600 тысяч. То есть остается найти только 750 тысяч. Легко можно подчинить Пруссии еще нескольких второстепенных государей и собрать таким образом 200 тысяч подданных. Ганновер готов пожертвовать обещанными ему 300 тысячами. Следственно, остается найти еще не более 200–300 тысяч подданных и, взяв их в Саксонии, население которой составляет 2 миллиона 100 тысяч человек, оставить последней ее состояние почти в целости.

Расчеты, породившие впоследствии немало упреков Венскому конгрессу в том, что он делил народы подобно *стадам*, вызвали бурное возмущение пруссаков. Они категорически

отвергали точность таких расчетов и предавались оценкам, сколь недопустимым, столь и трудно-опровержимым. Без авторитета, сведущего и наделенного властью произнести последнее слово, прийти к согласию было невозможно, ибо расходились во мнениях не только о количестве, но и о «качестве» людских ресурсов. Говорили, что поляк из окрестностей Познани, оставленной Россией Пруссии, стоит больше, чем поляк из окрестностей Клодавы или Сомпольно, ею удержанных, а бывший француз из Экс-ла-Шапели или Кельна – несравнимо больше, чем поляк из Калиша или Торна, на которого его меняют.

Потому задумали, помимо главного комитета из пяти членов, разбиравшего все перво-степенные вопросы, сформировать особую комиссию для изучения выдвинутых с той и другой стороны оценок и вынесения по ним компетентного решения.

Лорд Каслри в последние дни декабря побеседовал с Талейраном и представил ему формирование этой комиссии как способ выйти из затруднения и спасти саксонский вопрос, сведя его к цифрам. Талейран не выдвинул возражений против создания оценочной комиссии, но отвечал британскому полномочному, что трактовать вопрос таким способом – значит его при-нижать и правильнее было бы говорить о принципах, а не о цифрах. Затем, вернувшись к своей излюбленной теме, теме наследственного права, он предложил лорду Каслри заключить между Австрией, Англией и Францией краткую, но точную конвенцию, посредством которой эти три державы договорятся поддерживать существование Саксонии в принципе, разве что при уступке ее некоторых частей Пруссии. Лорд Каслри немедленно отпрянул, как человек, на которого совершили внезапное нападение. «Вы предлагаете мне альянс, – сказал он Талейрану. – Альянс предполагает войну, а войны мы не хотим и решимся на нее только в крайнем случае. Когда придется думать о войне, тогда мы и обсудим средства ее ведения и союзы, из них вытекающие».

Получив отпор, Талейран не стал настаивать. Договорились сформировать оценочную комиссию и решили включить в нее и Францию.

Идея создания оценочной комиссии получила одобрение всех заинтересованных сторон, но когда зашла речь о том, чтобы допустить в нее французского комиссара, возникли возражения. Ведь это означало отказ от обещания без Франции распоряжаться всеми территориями, которые у нее отобрали, обещания, повторенного в Вене в первые дни конгресса. Правда, позднее пришлось всё устраивать вместе с Францией, ибо притязание решать в Европе что-либо окончательно без ее участия быстро выказало всю свою смехотворность и неосуществимость. Но по главным территориальным вопросам всё же не отклонились от тайного обязательства действовать исключительно в рамках *четверки*. Меттерниху и лорду Каслри пришлось бы признаться, что в своей глубокой обеспокоенности они полностью посвятили Францию в дело Саксонии и теперь неуместно ее отстранять. Они не решились на такое признание, а поскольку Пруссия резко возражала против введения в дело последней инстанции, не настаивали больше и не включили французского комиссара в оценочную комиссию.

Лорд Каслри не осмелился сам сообщить новости Талейрану; он поручил это своему брату лорду Стюарту, послу Англии в Берлине, явившемуся в здание посольства с множеством извинений и смущенных объяснений. Талейран, не намеренный шутить, когда речь шла о роли французской миссии в Вене, сухо спросил у брата лорда Каслри, кто возражал против принятия Франции в комиссию, и с горькой иронией заметил, что, скорее всего, ее участия не захотели союзники. Когда лорд Стюарт простодушно признал влияние союзников, Талейран, вне себя, резко ответил: «Поскольку вы еще *шомонские союзники*, оставайтесь в своем кругу. Французское посольство сегодня же покинет Вену, и всё вами сделанное останется ничтожным и для него, и для принесенных в жертву заинтересованных сторон. Европа узнает о том, что произошло, Франция узнает о роли, которую ее хотели заставить играть, а Англия узнает, как слабо и непоследовательно выступал ее представитель. Она узнает, что после фактической сдачи Саксонии и Польши он отверг помощь, которая могла спасти их обеих». Эти слова, угро-

жавшие лорду Каслри, обещая ему серьезные затруднения в британском парламенте, чрезвычайно взволновали лорда Стюарта, и он побегал предупредить брата о надвигавшейся буре. Хотя лорд Каслри и не принял угрозы Талейрана всерьез, опасения возможных последствий придали ему храбрости в отношении союзников, которой ему поначалу не хватало. Он снова собрал их, заявил, что не возьмет на себя подобной ответственности перед Англией, получил поддержку Меттерниха, и французского комиссара приняли в комиссию вопреки пруссакам. Любезная записка лорда Каслри уведомила об этом Талейрана в тот же вечер.

Представителем Франции в оценочной комиссии выбрали Дальберга. Комиссия собралась 31 декабря. Изложить притязания России и Пруссии поручили русскому представителю, и это было тем более уместно, что после достижения согласия с Австрией относительно границ Галиции и оставления герцогства Познанского Пруссии, Россия казалась незаинтересованной в поставленном вопросе. Ее представитель говорил от имени двух держав и обнародовал следующие выводы. В качестве возмещения за потери Пруссия получит, помимо герцогства Познанского, всю Саксонию. По словам российского комиссара, невозможно было сделать меньшее, чтобы вернуть Пруссию к состоянию 1805 года и выполнить взятое в ее отношении обязательство. Король Саксонии будет перемещен на берега Рейна, и Пруссия предоставит ему территорию, населенную 700 тысячами жителей, с Бонном в качестве столицы. Вдобавок король получит один голос в сейме. Будучи помещен среди католического населения и на границе с Францией, этот государь предотвратит всякое соприкосновение Франции с Пруссией. Польша получит от российского правительства отдельную администрацию и дальнейшие приращения за счет бывших польских провинций, ныне принадлежащих России. Всё это осуществится по воле императора России, оставляющего на свое усмотрение организацию королевства, которое сам и возглавит. Император будет отныне носить титул русского царя и польского короля. Другие державы, участницы раздела Польши, сохранившие по мирному договору польские провинции, также обязуются дать им администрацию, способную обеспечить провинциям гражданскую независимость и государственное устройство, сообразное нравам жителей, а также отношение, благоприятствующее их торговым и сельскохозяйственным интересам.

Этот план был последним усилием, которое предпринял Александр ради своего союзника прусского короля, дабы обеспечить ему Саксонию. Но было совершенно очевидно, что он не станет поддерживать свои предложения до последней крайности, будучи удовлетворен в том, что касалось его самого. Продолжение и обсуждение предложений перенесли на 2 января.

Первого января лорд Каслри получил весьма важное известие, совершенно переменявшее ситуацию. Англия подписала мир с Соединенными Штатами и теперь могла перевести все свои войска на европейский континент. Война с Америкой весьма ее беспокоила, и все силы, не занятые защитой Нидерландов, она использовала там. Избавившись от этой заботы, Англия была в состоянии собрать в Голландии к весне 1815 года 80 тысяч человек и тем самым предоставить новой коалиции (если таковую против Пруссии и России придется формировать) широкий контингент.

Второго января оценочная комиссия собралась вновь, чтобы обсудить предложения императора Александра. На сей раз защищать общий план взялись пруссаки. Обстановка для них сложилась самая опасная. Это была их последняя попытка добиться Саксонии, и в случае отказа им оставалось только прибегнуть к силе. Их комиссары соединяли с огромным личным воодушевлением всё воодушевление военных, во множестве собравшихся в Вене и не перестававших с невероятным бахвальством твердить, что они одни спасли Европу и потому не должны ни в чем встречать отказа; что Саксония – это их завоевание; что они завоевали ее в Лейпциге в ужасных сражениях 16–18 октября 1813 года; что при поддержке русских братьев по оружию они не позволят похитить у них цену их крови; что они трудятся не ради одной Пруссии, а ради Германии, ибо каждое новое увеличение Пруссии есть шаг к германскому единству, которое может совершиться только через Пруссию и во главе с ней.

Под влиянием этих подстрекательских речей прусская миссия предалась на комиссии всей пылкости своих чувств. Прекрасно понимая, что их смелые утверждения и притязания встретят сопротивление, пруссаки пришли в крайнее раздражение и дошли до заявления, что при необходимости Пруссия будет добиваться выполнения требований силой оружия. При таких словах лорд Каслри, гордый англичанин, удивленный подобным отношением людей, которым он так помогал, отверг угрозы Гарденберга и заявил, что Англия не потерпит принуждения и на войну ответит войной. Выйдя из себя, он удалился в волнении, ему не свойственным, и отправился облегчить душу туда, где, как он знал, найдет сочувствие, то есть во французскую миссию. Забыв про *шомонских союзников*, он рассказал Талейрану о происшедшем и повторил, что Англия не потерпит подобной заносчивости. Освободившись от бремени войны с Америкой, лорд Каслри обрел всю свою энергию и выказал готовность скорее бросить вызов самым крайним последствиям, нежели уступить надменности пруссаков и русских. Его ловкий собеседник выслушал английского министра, искусно польстил его чувствам и напомнил, о чем говорил несколькими днями ранее: небольшое письменное соглашение между Англией, Францией и Австрией поможет осадить приступы русской и прусской гордыни. «Изложите ваши мысли на бумаге», – отвечал лорд Каслри, и Талейран, не заставляя дважды просить себя, взял в руки перо. Обсудив вопрос со всех сторон, они составили проект конвенции, посредством которой Австрия, Франция и Англия обязывались предоставить для совместных действий по 150 тысяч человек, если защита европейского равновесия навлечет на них врагов, которые не назывались, но которых не было нужды называть. Лорд Каслри отбыл с проектом, пообещав вернуться на следующий день, после того как повидается с Меттернихом.

Талейран достиг вершины желаний. Французская миссия, почти ничего не значившая по прибытии в Вену, теперь была призвана сыграть важную роль в расформировании Шомонского альянса и формировании альянса нового, назначавшегося для защиты принципа наследственного права. Вернуть Франции решающую роль и добиться распада коалиции значило добиться превосходных результатов.

Лорд Каслри не терял времени, ибо ему уже слышались в парламенте крики, упрекавшие его в том, что он пошел на поводу Пруссии и России. Он повидался с Меттернихом, нашел его готовым, как и он сам, отбросить предрассудки бывшего члена коалиции и опереться на Францию, дабы сдержать неблагодарных и требовательных союзников. Условившись с ним обо всех пунктах, лорд Каслри вернулся на следующий же день, 3 января, и принес Талейрану выработанный со знанием дела проект. Проекту постарались придать миролюбивый и, главное, оборонительный характер. Ни на кого нападать не собирались, но если одна из трех договаривающихся сторон подвергалась нападению других европейских держав за то, что добросовестно и без всякой корыстной цели поддерживала план европейского равновесия, Франция, Англия и Австрия обязывались предоставить по 150 тысяч солдат для обороны атакованной стороны. К договоренностям, развитым в нескольких статьях, лорд Каслри пожелал добавить еще одну, которая была, по его мнению, необходима и ни у кого не могла вызывать возражений. Вот о чем шла речь.

Поскольку стороны действовали в охранительном духе и служили священному принципу удержания на тронах легитимных монархов, они заранее заявляли, что *если воспоследует война*, они будут считать себя *связанными Парижским договором и обязанными урегулировать состояние и границы держав в соответствии с его принципами и его текстом*.

Здесь Талейран, в свою очередь, попался в ужасную ловушку. Если бы изначально он не так скоро и громко выступил за Саксонию, если бы не предлагал свою помощь столь пылко, а подождал, пока у него ее попросят, ему могли бы не навязать такого условия и, вероятно, даже не предложили бы. Но после того как он поспешил высказаться в пользу Саксонии и разругал все кабинеты за хладнокровие, ему уже нельзя было отступать, когда его поймали на слове, и, после многократных заявлений о том, что Франция выступает в защиту принципа, призна-

ваться, что в некоторых случаях она может подумать и о своих интересах! От него отвернулись бы и тотчас договорились бы с Пруссией и Россией, уступив им всё, чего они желали. Правда, беда была бы невелика, ибо политика, которую вели Пруссия с Россией, не являлась для нас невыгодной: Саксонский дом оказался бы на Рейне и стал нашим соседом вместо Пруссии. Но, повторим, отступить было невозможно, следовало принимать соглашение от 3 января вместе со статьей, которая в случае новой войны обязывала нас принять за основу будущего мира договор от 30 мая. Талейран поставил подпись без единого замечания, не подумал даже попросить, чтобы взамен ему обещали хотя бы низложить Мюрата, в чем Людовик XVIII был заинтересован куда больше, чем в спасении короля Саксонии. Но французский полномочный опасался хоть на минуту задержать результат, которого так добивался, и договор, столь желанный французской миссии, но столь бесполезный для династии и только льстивший ее предрассудкам, был подписан в ночь на 4 января и датирован 3-м.

Заключение конвенции свершилось в глубокой тайне, дабы не дать пруссакам и русским повода поднять шум и довести дело до войны, а также дабы враги коалиции не возрадовались ее скандальному распаду. Однако тайну открыли Баварии, Ганноверу, Нидерландам и Сардинии, которые заслуживали присоединения. И действительно, князь Вреде от Баварии и граф Мюнстерский от Ганновера поспешили присоединиться к коалиции. Нидерланды и Сардиния присоединились несколько дней спустя, но существование конвенции осталось неразглашенным.

Поскольку следовало согласовать план военных операций между Австрией, Баварией и Францией, которые были наиболее склонны к активному участию в войне, в Вене выразили желание получить для содействия разработке плана способного французского генерала, питавшего нужные чувства. Талейран подумал о генерале Рикаре, попавшем в опалу при Империи из-за неудавшейся монархии маршала Сульта в Португалии, выдающемся офицере, весьма достойном присутствовать на конгрессе, где собрался весь высший свет Европы. Талейран тотчас затребовал генерала у Людовика XVIII, сообщив ему о заключенном договоре.

Хотя тайна зарождения новой коалиции тщательно соблюдалась, в речах дворов Англии, Франции и Австрии появилось согласие, которое не позволяло усомниться в том, что они сговорились и решились держаться одной позиции. Другим, не менее многозначительным признаком стала позиция Баварии. Все германские государства, даже северные, разделяли ее чувства, но только она, благодаря силе, которую обрела в последние пятнадцать лет, и своему географическому положению, которое позволяло ей избежать ударов Пруссии, осмеливалась вслух заявлять свой образ мыслей и вести речи о войне. Пруссаки могли кричать и угрожать сколько угодно – им соглашались уступить только некоторые части Саксонии, для оформления границ и наказания Фридриха-Августа. Однако, соглашаясь на некоторое сокращение земель в Саксонии, никто не допускал их полной конфискации в пользу Пруссии, и на этот счет со всей очевидностью вынесли твердое решение, пренебрегать которым было опасно. Неосмотрительные прусские военачальники были весьма к этому склонны, но король этого не хотел, да и Александр не поддержал бы их дерзости. В результате пруссаки и русские, хоть и продолжали требовать всю Саксонию, но не удержались и вступили в дискуссию о цифрах, инициированную Австрией. Та постаралась доказать, что с учетом возврата территорий в Польше, Вестфалии и рейнских провинциях, Пруссия может претендовать не более чем на 300–400 тысяч жителей Саксонии. Прусские дипломаты вступили в спор, противопоставили оценкам Австрии свои собственные и утверждали, что им понадобится больше половины Саксонии – не только в территории, но и в населении.

Весь январь посвятили обсуждениям такого рода. Одно обстоятельство ускорило их завершение. Следуя своему обыкновению, британский парламент должен был собраться в феврале. Лорда Каслри призывали коллеги, дабы объяснить и оправдать дело, непонятное для

публики и даже в глазах сведущих людей запятнанное упреком в непостоянстве, ибо прежде чем защищать Саксонию, он поначалу хотел ею пожертвовать. Лорд Веллингтон должен был покинуть парижское посольство и прибыть в Вену на смену лорду Каслри. Последний не хотел уезжать из Вены, пока не будут решены основные вопросы и получены результаты для сообщения парламенту. К тому же его нетерпение разделялось всеми. Государя, как те, кто пользовался гостеприимством, так и те, кто его оказывал (последним оно обошлось уже в 25 миллионов), устали от череды фривольных празднеств и напряженных дискуссий. Они целых два года провели в тревогах ужасной войны и самой бурной дипломатии. Им не терпелось вернуться домой, заняться собственными делами, насладиться миром и дать насладиться им своим народам. Конец долгой борьбе кладет обыкновенно не разум, а усталость. И потому все стремились достичь согласия, в течение двух месяцев перед тем ведя дело к шумному разрыву и новой войне.

Меттерних, Талейран и лорд Каслри, понимая, что Пруссия почти побеждена, договорились осуществить под руководством князя Шварценберга, представлявшего австрийские военные интересы, разделение Саксонии, которое могло бы, не уничтожив королевство, удовлетворить прихоти его соседки. Поначалу они договорились отсечь от королевства наибольшую часть на правом берегу Эльбы, в том числе Верхний и Нижний Лаузиц. В самом деле, настоящая Саксония находилась скорее на левом берегу Эльбы, а правый берег составляли в основном аннексированные провинции. Тем не менее, забирая Верхний и Нижний Лаузиц, Саксонии сохраняли ту ее часть, которая располагалась вдоль Богемских ущелий, то есть Бауцен и Циттау. Затем договорились уменьшить ее слева от Эльбы в Миснии и Тюрингии, то есть на равнинной местности, наиболее пространной и наименее населенной, и оставили ей гористую местность, не только наиболее промышленно развитую, но и наиболее интересную Австрии, вдоль границы которой она располагалась. Поначалу у несчастной монархии хотели забрать не более 400–500 тысяч жителей, но по настоянию лорда Каслри, стремившегося вновь добиться дружбы пруссаков и поскорее завершить дело, согласились пожертвовать 700 тысячами жителей; то есть у Саксонии отнимали треть населения и почти половину территории. Позиции на Эльбе были еще важнее, чем территория. Из-за одной из них, из-за Торгау, разгорелись горячие споры. Отдав Виттенберг, отдавать и Торгау, который по известному совету Наполеона стал главной крепостью Верхней Эльбы, было опасно. Шварценберг и Талейран пытались возражать, но уступили, оставшись без поддержки лорда Каслри. Наконец утвердили план, по которому Пруссии передавались, помимо Виттенберга и Торгау, половина саксонской территории и треть ее населения. Правда, главные города и самая богатая часть Саксонии оставались у Фридриха-Августа.

План был представлен оценочной комиссии в первых числах февраля. Было очевидно, что план этот согласован и русские и пруссаки не добьются большего, даже рискуя рассориться. Взятые в отношении Пруссии обязательства были выполнены, и с лихвой, ибо произвели ее восстановление в рамках 1805 года и намного лучше наметили некоторые отрезки ее границ. Саксонию перевели в иерархии германских государств из второго в третий ранг. Вдобавок Россия, оставив герцогство Познанское и не побоявшись войны ради Пруссии, исчерпала на этом свою преданность. Пруссия это почувствовала и решила уступить. Тем не менее один пункт оставался для нее очень важным, потому что был связан с самолюбием прусских военных и с выгодой прусских коммерсантов. Речь шла об обладании знаменитым городом Лейпцигом. Приобретение Лейпцига стало бы для гордости пруссаков наградой за унижение, которое им приходилось перенести при оставлении Саксонии.

Соответственно, 8 октября Пруссия представила ноту, в которой, впервые произнеся слово «согласие» в отношении предложенной сделки, просила, чтобы ей предоставили Лейпциг, ссылаясь на то, что получила наименее богатую и населенную часть Саксонии, содержащую только один большой город.

Как обычно случается, последний день стал самым бурным. Король встретился с лордом Каслри, пожаловался на то, что его хотят обесчестить и сделать невозможным его возвращение в Берлин, заставляя оставить Саксонию после того, как он ее занял. В заключение Фридрих-Вильгельм заговорил о Лейпциге как единственно возможной компенсации за подобное унижение. Нетрудно было ему ответить, что это его вина, ибо он занял Саксонию необдуманно и должен сердиться за это осложнение только на себя. Лорд Каслри поделился с союзниками жалобами Фридриха-Вильгельма, но, помимо того, что англичане предпочитали, исходя из своих торговых интересов, чтобы Лейпциг принадлежал маленькому, а не большому государству, британский министр встретил такое противодействие этому пункту, что не счел возможным настаивать. Договорились только предоставить Пруссии еще что-нибудь. Англия пожертвовала от Ганновера 70 тысяч человек из доли в 300 тысяч, которые должна была отдать ей Пруссия, и еще 50 тысяч из доли Нидерландов, а Александр, желая полного умиротворения, пошел на еще более значительную жертву. Он всегда хотел, чтобы Краков, по причине его морального значения, и Торн, по причине его значения военного, остались вольными и нейтральными городами. Ныне он отступился от последнего притязания и согласился отдать Торн Пруссии, которая получала в результате все крепости Нижней Вислы – Торн, Грауденц и Данциг, уже получив все крепости Эльбы – Торгау, Виттенберг, Магдебург и другие. Такой ценой Лейпциг был оставлен Саксонии, а Пруссия согласилась, наконец, с предложенным устройством.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.